

.4

Cojo

Solo

КОЛО

СОЛО

**ПРОЗА
ПОЭЗИЯ
ЭССЕ**

МОСКВА 1991

Редакционная коллегия:

Андрей БИТОВ
Владимир ЗУЕВ
Александр МИХАЙЛОВ
Евгений ПОПОВ

В НОМЕРЕ:

К ЧИТАТЕЛЮ

Андрей БИТОВ. "От "солиста" шестидесятых"..... 5

НОВЫЕ ТЕКСТЫ

Андрей КАВАДЕЕВ. Рассказы из "РУССКОГО ЛУБКА":

Романтический бомбардировщик	9
В сене и на дереве	10
Товарищ Виски	11
Средняя Азия	12
Цареубийца	13
Максим Максимыч	14
Петербуржец	15
Фельдшер и Жанна	16
Шлюзы	18
Нилька	18
Тамань	19
Вальсы Страуса	21

Андрей МИХАЙЛИЧЕНКО. "СПЛИН". Поэма..... 22

Софья КУПРЯШИНА. "БЕЗ СНОВ". Проза:

Прошлое	28
Санэпидемка	29
Без снов	30
Окно	33
Старое зеркало	33
Слепая	34
Блюз	34
Вечер	35
Убийца	35
Утро	40

СОЛО № 4

Зуфар ГАРЕЕВ. Проза:

Стереоскопические славяне	41
Подражание лету	53
Мультипроза (фрагменты)	61

МОНОЛОГИ

Юрий Буйда:

Люди на острове	74
Третий	79
НСЦДТЧНСИ	86

Ваши отзывы присылайте по адресу:

101000, Москва, ул. Кирова, 40.
 Производственно-коммерческий кооператив "Аюрведа"

Андрей БИТОВ

ОТ "СОЛИСТА" ШЕСТИДЕСЯТЫХ

Меня смущает, когда я употребляю слово "поколение", оно давно скомпрометировано и является лишь следом литературной политики, навязанным нам представлением. Когда мне приходилось говорить о своем поколении, я брал диапазон от двадцать четвертого до сорок первого года рождения. Все зависело от того, в каком состоянии "трачености души" находился человек. Для поколения характерен не возраст, а прохождение какой-то исторической бритвы: война, пятьдесят шестой год, а теперь, по-видимому, что-то будет значить восемьдесят пятый... Словом, если какое-то историческое событие касается многих людей, то оно сразу обозначает их возраст. Именно так и получается: по определенному признаку, а не только из необходимости последующего описания литературных процессов, образуется литературное течение.

Каких только не было поколений на нашем веку: и потерянное, и пропущенное; это - брошенное. На произвол судьбы. Дополнив друг друга разностью манер, авторы эти, хотели они того, или нет, нарисовали-таки общую картину, написали одну книгу, которая до сих пор не вышла. Этот не то сборник, не то альманах, не то журнал получился больше **книгой**, чем собирался ею быть.

Мы жили, и они жили. Все было предопределено и известно. Вдруг, наконец-то, и слава Богу, тронулось, тикнуло, поехало. Очнулись мы в незнакомой стране - пейзаж не тот, люди не те. Поколение с поколением напрочь незнакомы. Более неведомого существа, чем брат, и отец, и сын, и дочь, в природе не сыщешь. Пропасть этого незнакомства непреодолима, если поколение само не расскажет нам о себе (мы же ему о нем ничего не скажем). Без нашего желанья, их помощи мы так и останемся навек разделенными. В одной стране, в одной семье, в одной комнате, как на разных планетах и в разных исторических временах. И как же заговорить этому поколению?

Только с помощью **своих** писателей.

"Солисты" И.Клех и З.Гареев, А.Шарыпов и А.Гаврилов, Д.Добродеев и А.Кавадеев... - все тем же, замедленным, застойным путем выходят в люди, отнюдь не снимая, а лишь еще раз обозначая проблему немого поколения, которому так и нечего будет делать, пока не наступит свобода печати. Пора понять поколению говорящему и властвующему, что свобода слова и свобода печати - совершенно разные вещи.

Пишут по-разному, их не спутаешь. Для них стиль - это человек прежде всего. Получается - об одном. Об испарении, об исчезновении человека. О застое - изначальном и единственном опыте. Как бы далекие

от социальности и политики (в чем бы не преминули их упрекнуть именно в те времена, когда ничего этого было нельзя) - они по-своему остро-социальны, ибо их поколение хлебнуло застоя больше любого предыдущего и, надеюсь, последующего. Исчезновение, дематериализация героя - не только тема, но и сюжет, общий почти для всех авторов. Жизнь для каждого теряет смысл по-разному, но результат - утрата этого смысла - одинаков для каждого.

И литературность, которую каждое поколение не переставало ругать последующее, у них другая - она более след литературной одаренности, чем подражания. Соотношение литературы и жизни у них другое. Они не боятся литературы. Она их влечет. Может быть, хватит требовать от них того, чего в их жизни и не было? Может, надо прислушаться к тому, что в их жизни было?

Новая литература продемонстрировала замечательный возврат к слову. Тематический плен, в который мы были пойманы, ею был преодолен. (Я, как ленинградец, помню именно ленинградскую борьбу молодых авторов конца пятидесятых - шестидесятых годов с темой. С темой не как с запретом, а с самим наличием этой темы, с необходимостью быть "за" или "против".)

Эпоха застоя, помимо всего прочего, была эпохой стабильности, а стабилизация имеет свои преимущества: складывается быт, человек не травмируется комплексами сравнения, неосуществленными вариантами жизни и т.д. Мне нравится мысль, высказанная академиком Лихачевым о Пушкине: не надо забывать, что в XIX веке был сложившийся быт, который освобождал Пушкину невероятно много времени. Русские люди не ценят того, что имеют; стонут, жалуются и не могут воспользоваться просто дарованным им временем. А застой, конечно, был дарованным временем. И надо было быть действительно свободным человеком, чтобы не претендовать, а делать. И, может быть, поколение характеризуется тем, как оно обрабатывает свое время.

Поколение эпохи застоя, к которому принадлежат авторы "СОЛО", отказывалось от активной борьбы, от карьеры и прочего. Оно не осваивало свое время для других, как это было раньше: если я русский писатель, то я обязан выразить свое время для народа; нет, новое поколение осваивало время для себя.

Когда-то по телевизору показали замечательных ребят из "Общества любителей Брежнева". Они пришли регистрировать свое общество, а им отказали, увидев в том сатиру. Но там было куда больше шутки и свободы, чем сатиры. У этих ребят были умные и просветленные лица, и видно было, с какой дистанции они относятся ко всему происходящему, сохраняя себя в своей эпохе. Они говорили интервьюеру: ну, что вы нам нового открыли, мы давно уже сказали все это себе

сами, на кухне, отдайте же нам нашу кухню, т.е. сохраните нам наше пространство и время.

Мое время должно быть моим - это существеннейшая часть работы писателя. Энергия приватности собственного времени и собственного пространства - вот что присуще новому поколению.

В возникновении "СОЛО" меня очень радует факт материализации моей идеи, на которую я уже не посягал, будучи человеком другого поколения. Как свято место пусто не бывает, так не бывает и идеи лишь в одной голове. Расцвет толстых журналов в начале перестройки оказался недолгим - все они конкурировали в одном и том же направлении, воруя друг у друга одни и те же вещи, и, в результате, одинаково лопнули, как пузыри. С другой стороны - альманахи, "подпольная" традиция. Я помню упреки к "Метрополю": там много напечатано ерунды; но альманах - не антология. Суть свободного альманаха - срез литературного процесса, в который попадает и всякий сор. Но и это оказалось слишком трудоемким делом.

Мне же всегда хотелось сделать не журнал, не альманах и не антологию. Идея "СОЛО" и есть то самое, что мне хотелось.

Это издание, которое содержит в себе все перечисленные элементы и в то же время их отвергает. Его принцип - узнаваемость голоса. Все, что пока публиковалось в "СОЛО", это не игра, это серьезно. Серьезно не в переродившемся и убогом значении некой насупленности. Нет, это имеет связь с жизнью, с языком, с опытом, со всеми теми вещами, которыми проверяется истинно настоящее.

Меня одновременно очаровывает в этих писателях то, что у них уже все так хорошо выражено, и найдена манера, и слово к слову прилегло, и рассказ живой и лаконичный, и вот уже дюжина этих рассказов, и из них образуется маленькая прелестная книжечка, но вот... тома из этого не образуется. Надеюсь, она будет долго оставаться, эта книжка, как это было в 20-ые годы: Добычин, Хармс, обэриуты... Общее с новой литературой у них - супервыраженность в слове.

Узнаваемость - очаровательная вещь, но она может стать и приговором. Я не скажу, что это недостаток, наоборот - это достоинство, тяготение к узнаваемости. Это и есть выражение оградительности от того времени, в котором сформировано поколение. У него как бы нет надежды на развитие, и тогда делается миниатюра, не только в смысле объема, но и - блеска.

Новые писатели идут от литературы, они - читатели-исследователи. Для них жизнь будет неограниченной, как она оказалась неограниченной для, скажем, Борхеса. Если писатель перемальвает только опыт жизни, тут могут всякие обстоятельства: он сам может потерять свой дар, может сломаться и т.п. Если же писатель пропускает действительность

через уже существующую литературу, то он более обеспечен, его источник никогда не иссякнет.

Переработка действительности в чистое и широкое полотно, как у Толстого, наверное, уже позади. Видимо, роль литературы меняется: в России она еще сохранилась в "старом" виде, а на Западе ее уже (в таком качестве) не существует. Там значительно больше разработаны жанры и игра. Может быть, новое поколение занимается обработкой "дикой" русской литературы, чем начал заниматься еще серебряный век, завершавший собой "дикий" период и начавший переход к периоду "цивилизованному". В этом смысле новых писателей еще больше, чем предшественников, можно упрекать в том, что они... страшно далеки от народа.

У каждого поколения (а если не использовать этот навязанный термин, то - направления), объединенного какими-то общими свойствами, есть свое назначение. Когда обрисуется то, что оно сделало, эти писатели станут уже старыми, как мы. Ясно, что они возникли на необходимом месте. Их опыт - не только то, что пройдено каждым лично, но и временем, и языком, и страной...

"СОЛО" создано для того, чтобы появились эти "непечатные" авторы, чтобы они выразили свою непечатность и ненужность. Люди по инерции воспринимают настоящее по традициям прошлого. Пройдет еще сколько-то времени - и этот период, эта школа, это направление выявится вполне и окажет влияние на молодые умы, и возникнет попытка описать этим же способом следующую реальность. Но она уже не удастся. Я стою на том, что каждый писатель старается обработать настоящее, которое еще не говорит никаким языком. А то, чем оно говорит, это язык прошлого. И вдруг находится художник, который выражает именно это мгновение, но его не понимают и не принимают. Потом это мгновение настолько насыщает следующее время, что становится прошлым. И мы говорим про художника: как замечательно он описывает наше время...

Меня привлекает в "солистах" желание ясности, прозрачности, желание посильности своего труда. Потому что, если ты берешься за непосильный труд, ты его и не сделаешь. От претензий "сделать литературу", "выполнить предназначение", "послужить народу" происходит возвращение к честному созиданию предмета, и это - очень хорошо.

Андрей КАВАДЕЕВ

рассказы из "РУССКОГО ЛУБКА"

РОМАНТИЧЕСКИЙ БОМБАРДИРОВЩИК

О самолете я узнал из кино: фюзеляж, бомбоотсек, шасси. Крыло налево, крыло направо. Мертвая петля. Леваневский, связавший из неба джемпер. Чаплин - маленький и нищий, Чкалов - большой и богатый. Авиационные очки шли к русским лицам, восполняя недостаток лицевого угла. Летали много и часто, зарабатывая ордена и геморрой. Всё, что было на воде, поднялось в воздух: армада, эскадра, эскадрилья. Песнь о буреизвестнике и песнь о бомбардировщике. Жирным пингвином пробирался танк, рожденный ползать. Ах, что и говорить, когда эти фанерные ящики начинали рычать, когда вибрировали на них языкастые звезды, когда тощие велосипедные колесики отрывались от неровного поля, все переставало жить на земле, чтобы воскреснуть в небе. Мне не нужна была церковь, где голова утыкалась в купол, где взлет был синонимом повиновенья: на каждом авиапараде летали тысячами, летали генсек и маршалы, мужики и бабы, инженеры и рабфаковки, мельницы и кинозвезды. Нам не хватало горизонта и мы срезали все, что мешало летать и видеть: дубравы, купола, водонапорные башни. Под землю уходили купола земные и здесь же, в ближнем небе, возникали - небесные, парашютные. Словно маленькие часовенки опускались они вниз, снабженные живыми человеческими ступнями. Я летал под утесовский джаз, пикируя в эпицентр смуглой грампластинки. Из моей кабины просматривалась суша, уже никем не сотворенная, но еще никем не потопленная. Я парил и пикировал, и бомбоотсек мой был полон. Никто не мог поручиться что в нем: тяжелые разрывные бомбы или немецкий профессор, похищенный органами прямо из лупанара: все, что ни летело на сушу, уже не стоило неба.

Так прежде, до изобретения аэроплана, мерилom надмирности была лошадь. Улан или казак, бывший к небу на лошадь ближе, уже не замечал пехотинца: "рожденный ползать". Я, бомбардир, бывший ближе к небу на самолет, мало различал сушу. Суша - это количество объектов, которые нужно поразить. Когда выброс удачен, над моим правым ухом зажигается сигнальная лампочка, а по радию поет Шульженко. Радист жмет мне руку, бортпроводник свистит, а погода называется "низкая облачность".

Весело, как будто кто-то щекочет брюхо бомбардировщика: острые мураши покрывают обшивку.

"Утесова! Утесова!" - кричит публика внизу, на маневрах. Я опускаю рычажок, и вниз, на сушу, вываливается партия апрелевских дисков.

Утесов - бархатное горлышко от земли к небу, неистовый гасконец голоса, соло соловьиное, горе луковое; вибрируют два моих крыла стрекозиных, вибрируют - в петле воздушного коромысла, вибрируют, заслоняя лик твой от божьего, поджаты мои петушинные шпоры: "Что суша?"

"Что суша?" - пою я все выше.

"Что суша?" - поёт подо мной эскадрилья.

"Что суша?" - поют души умерших птиц.

На востоке появляется свет - розовый и холодный. Мне - туда.

"Мне туда-а-а..." - поет Леня.

Гордо реем, гордо реем; реем.

В СЕНЕ И НА ДЕРЕВЕ (святочный луб)

"Идти на принцип и не есть мяса, или идти на мясо и не есть принцип, - рассуждает беглый офицер Онопко, ховаясь в миргородском сене, - а ховаться в стогу, пока не выйдут красные звезды и не вспомнятся астрономия и астрология, а вслед за ними и на хрен не нужная астрология, и лебяжий пух, и госпожа Лебядкина, у которой ляжки и пятки и двое незаконных детей от Семизадова, бывшего в Ростове городским головой, с десятого по четырнадцатый, пока эсер Шустрин не подорвал его вместе с поездом, мостом и пароходом "Св. Анна", на котором некогда плаывал писатель Грин, лечивший сплин водкой, бабой и селедкой - феерической троицей русского туземья, которую выбирает всякий, любящий быструю езду, равно как и езду в незнаемое, кратчайшим путем, минуя и поэзию, и правду".

"Полноте вам, батенька, что это вы так в сене-то расчувствовались, - отзывается Иван Никифорович, случившийся рядом. - Красота ландшафта зависит от выбранной точки обзора. Вы выбрали сено - это ваше право, но кто мешает вам установить точку в другом, более уместном месте? Вы спите в стогу, Онопко, и ведать не ведаете, прожженный своей белогвардейской риторикой, что в метре от вашего сена, на дереве липа висит усталый красонармеец Кауфман, которому опиум талмуда не затмил трудового детства, проведенного на житомирщине и бобруйщине, в воздержании от угнетения и обрезания, равно как от субботы и воскресения. Вот, Онопко, Кауфман спит на дереве и стал как один из нас, а вы, Онопко, трусите в сене и одним из нас никогда не станете. Стыдитесь и не мешайте взирать на звезды тем, кто ближе к ним по происхождению и выбору места".

"Яволь! - сокрушенно отвечает Онопко. - Как беглый офицер и мужчина с сердцем, на котором лежит крокодил, как бас несостоявшегося

хора, как семьянин и киевлянин, имевший жену и нечто от чрева ея, как гражданин России и раб Божий, я оставляю сено сие и вверяю судьбу проселочной ночи, ногам и большевикам с мыслями о литературе и искусстве, с воспоминаньями о Царском Селе и сале, с наивной верой в труд и молот, которые все перетрут".

"Гой!" - поет с липы Кауфман.

В белом венчике, впереди всех, невесомый и теплый, как вареный белок, движется Иван Никифорович. За ним, протянувши руки, пританцовывая и тихо смеясь, ступает белый ангел Онопко: он сущий, он язык, он всяк.

"Кугель, талес, ишиас..." - поет ему вслед красноармеец Кауфман. Он внук, он гордый, он славян.

ТОВАРИЩ ВИСКИ

Меня слишком хорошо знали - даже здесь, на курорте, куда почту привозил бронепоезд, стояние за углом было слишком очевидным фактом для немедленной отправки обратно. Нет, мне не хотелось обратно - в столичную конуру, где съели последнюю обувь и выпили калорийную финскую тушь, ибо здесь, в творческом декрете, у меня были: парная кровать, настольная лампа и исправный рукомошник. Я много писал - и два раза в неделю фирменный бронепоезд увозил мои рукописи на Большую Землю. Хлеб, бульон из картофельных очисток, черная каша и кисель утомляли желудок и возбуждали сердце. Обедал я обыкновенно в столовой рабфака № 2, где некогда согласились отоваривать мои просроченные продталоны. Со мной столовались три рабфаковки: Таня, Мотя и Фирюза.

"Как вы относитесь к ликбезу, товарищ Иван?" - спросила ласковая Мотя.

"Я больше люблю виски", - вяло пробормотал аз, копясь в перловом супе.

Глаза их загорелись. Рабфаковки пошептались, и самая бойкая из них, Фирюза, выпалила:

"Простите нам наше невежество, товарищ, но я и мои подруги просят вас рассказать о товарище Виски. Таня догадалась, что товарищ Виски - это боевой товарищ товарища Нетте, который пароход и человек".

Фирюза запуталась и покраснела. Ее кумачовая косынка сбилась в сторону и это придавало ей ужасно соблазнительный вид.

"Девочки, - ответствовал я, плавая в том же безнадежном супе. - Виски, девочки, это - продукт... противоречий. Этот смелый человек, чоновец, первый оборвал позорную ноту Керзона и сыграл на ней ноктюрн.

Это он написал "Цемент" и "Энергию".

"А я читала, что "Цемент" - это Гладкова сочинение", - робко вступилась Фирюза.

"Истинно так. Но есть и другой "Цемент" - так вот тот уж точно написал товарищ Виски, он же товарищ Нетте, он же товарищ Маузер, он же пароход и человек. Товарищ Виски, девочки, это большой товарищ. У него, знаете, такой красивый каменный дом в Петербурге. Он с Маяковским на одной ноге, и нога эта, сами понимаете, дружеская. Курьеры к нему слетаются... Сорок тысяч одних курьеров! Как где что не по нем - он туда по курьеру засупонивает - бежит, шельма, так, что селезенка ухает. Товарищ Виски - крепкий товарищ, он сальностей не терпит и от лапши всякой отворачивается: что ему рабфаковский окунь из требухи - он предпочитает честную икорку с эстрагончиком... Виски, девочки, церемоний не любит. Это вам не Госспирт на лимонных корках с товарищем Сгурцевичем в президиуме, это, барышни, продукт высших противоречий... Высших! Едали ли вы, мадам, фйле из лебединого крылышка?.."

...На следующий день курортный бронепоезд подорвался на mine - была суббота и поэтому аварийная команда выехала только в понедельник. В выходной мы всей четверкой поднимались на крутой Башибузукский холм, с которого хорошо просматривались опрокинутый состав, сломанные буфера и буфеты. Пахло гарью и каленым железом. Впереди нас бежали курортные мальчишки и вопили: "Раб-фак идет! Раб-фак идет!"

СРЕДНЯЯ АЗИЯ

Вернувшись с утреннего развода как трубочист, я не стал обедать, а сразу, не откладывая, подал рапорт шталмейстеру, получил прогонные и казенный билет до Кистеневки.

На станции, где праздная толпа третьи сутки подряд наблюдала странный процесс наложения рельс на шпалы, кормили борцом с субтитрами: ожидался большой эшелон из Казани.

Из крана, обрезанного по-мусульмански наискосок, давали пар - это означало, что Ивану Никифоровичу опять лучше.

Потчюя меня отменным табаком из Сорочинцев, Иван Никифорович долго искал мелочь, ибо был сволочь.

В борще плавали плавники и косточки от вчерашнего компота - Иван Никифорович фыркал, но ел, в то время как хитрый жид потрошил его славную бекешу: престранный народ эти иудеи. Стоит, бывало, только Ивану Никифоровичу одеть свой рушник вышитый и показаться в конце кистеневской улицы, как тут же, откуда ни весть, набежит черного

Андрей Кавадеев "Русский Лубок"

народу, и пошла писать губерния: "Верни, дядько, бекешу-то: из нашего она кибуца, краденая".

Ах, была бы жива Елизавет Петровна, не было б этого разгильдяйства: им бы, туркам, все через Сиваш, а Сиваш, известно, "вода гнилая". И что, скажите, толку в миргородской электричке, если Суворов не взял Тартукай?

На южном берегу Дуная стоит японский городской. Подходит к нему Бахтияр-паша и молвит:

"Как дело?"

"Потому что", - отвечает самурай.

25 декабря сего года случилось дело обло и озорно: Елизавет Петровна скончалась засветло, при нотариусе и терапевте.

Петр и Фридрих любили друг друга. Ужасно. Ужасно, друг мой, оказаться в Средней Азии, в расцвете сил и дарований - этот хлопок, эти рельсы как шпалы, и шпалы на рельсах, и привокзальные обеды, и кассы, и расы, и слуги...

"Одолжайтесь".

"Ах, любезнейший Иван Никифорович, знали бы вы, как круглы вы! Все мы сбиваемся в кружки, ходим кругами, округляем, колесим, закружляемся, окружаем, выходим из окружения, даем круголя. Но не синонимом единым..."

"Вчера еще мы были в Фергане и ели плов с урюком: на вас была тюбетейка, на мне - халат хана, а ныне жид потрошит вашу бекешу, а из борща торчат глаза рыбы-мученицы..."

Вспомните все это - и бросьте хандрить: Елизавете уже не поможешь, а Средняя Азия уже была.

ЦАРЕУБИЙЦА

Человек, уподобленный мне - не отмоется. Я убил супостата: руби мою руку, путник! Шея императора нежна - Торвальдсен не видел такой шеи. Принесли факелы: Пруссия спала. Линейный полк стоял в ограде. Срывали косы, паклю жгли. Столица прозябала молодцевато: март, ночь. Я трижды отрекся, но Панин вёл. Дворец набит тряпками: все на полу. Павел бос. Панин говорит гнусаво, в лоб. Тикает и бьет на камине. Кончено.

"Так какая на нем была шея?"

"Нежная".

Бросаются из-за угла. Бьют, поят, бьют. На балу у Корсаковых пристал: "Расскажи, брат, что там у Павла было?" - Пушкин.

"Пруссия, - говорю, - спала. Линейный полк стоял в ограде..."

"Дурак".

Масон, проходя, выставляет два пальца вниз, но я не масон, я царевубийца. Безотказен тот, кто знает правдиво. Руби мою руку, путник, все правда: и Пруссия спала, и полк стоял. Столица прозябала.

Павел умер. На дне колодца - луна-гривенник: достань!

"Почем ладони твои, Скарятин?" - Пречистенка, Потемкин.

Бал, горки-санный путь: "Скарятин!" Мороз-и-солнце-бегу-день-чудесный-зовут: "Еще ты дремлешь?" "Что было нежное у Павла: шейка, попка, спинка?"

"Ну что вы. Пруссия спала. Линейный полк стоял в ограде".

"Срывали косы", - кричит.

"Паклю жгли", - смеется.

Белозубый. Лед тает, а шампанское горит. Кони дышат: от цыган. Огни, мороз от самой Пресни. Додо идет: она проиграла. Ей подбросили короля, а пари: поцеловать. Додо тиха и морозна - подойти, приложиться и обратно. Черное платье вниз. Сухие губы. Она подходит.

"Что Вам?"

"Я хотела бы про Павла..."

"Пруссия, - говорю я, холодея, - спала. Линейный полк стоял в ограде. Срывали косы, паклю жгли. Столица прозябала молодецкато: март, ночь. Я трижды отрекся, но Панин вел. Дворец набит тряпками: все на полу. Павел бос. Панин говорит гнусаво, в лоб. Тикает и бьет на камине. Кончено".

Кончено.

МАКСИМ МАКСИМЫЧ

Я возвращался с Кавказа в половине июня, когда покорную голову Шамиля везли на расправу в столицу. Кавказ, очищенный от горцев, уже не возбуждал моего рвения, в брошенных аулах хозяйничали проходимцы. Во Владикавказе я связался с брачным шулером и был наказан: треть моего добра стащили проезжие малороссы. Оставив все хлопоты о браке, я поспешил расстаться с проклятым краем и месяц спустя уже въезжал в саратовские предместья. Я остановился на Пароходной, в доме бывшего своего сослуживца Зонтовича. В маленьком садике, росшем подковой в сторону Волги, за пузатым самоваром мы коротали длинные дембильские вечера: кричал извозчик, небо пасло облака, ленивый пробирался кот с ободренным замысловатым ухом, томился стол и ломти неизбежного арбуза. Поутру я ходил на службу в Петровский собор и ставил свечи за всех убиенных азиатов. Клирос пел. Видя мои тщетные труды в покаянии, ко мне уже приглядывался ласковый

Андрей Кавадеев "Русский Лубок"

быстроглазый священник, но я не воспользовался его милостью. Через неделю Зонтович разыскал подходящее для меня предложение, и я отправился высматривать дешевую дачу на лето.

Дорога вдоль Волги - широка и крутолоба, а окружающий ландшафт до странности напоминает Палестину: те же желтые горки и вросшие в них кусты, небольшие кудрявые деревца, лужи с зелеными краями, аспидное солнце и малолюдьё. Мы проехали около восемнадцати верст, прежде чем достигли желанного места. Отпустив возницу, я некоторое время стоял у худеньких ворот искомого дома. Протяжный ветер мел улицу, крутил тополиным мехом и птичьим пухом. Опасная близость реки объясняла дешевизну дачи: к дому подбирался оползень. На стук вышла смуглая пожилая хозяйка; поперхнулась собака, струхнул голубь.

"Вы в жильцы, сударь? - спросила она довольно громко, не стесняясь голоса. - Анна Васильева".

Я назвалсЯ и мы пошли в дом. За чаем я быстро раскис и выложил хозяйке все, что помнил о себе и своей службе.

"Так вы душегубец, Максим Максимыч?" - странно спросила хозяйка, не поднимая глаз.

Я собрался ответить, но голос мой вдруг потерялся в однообразном звуке, от которого вздрогнули стекла и заколотилась герань. Я не усомнился в оттенке - так кричала чеченская куча, совершая набег.

"На пол, все на пол! - закричал я, увлекая с собой пораженную хозяйку. - Когда они выскочут вперед, мы дадим им залп в затылок!"

"Тише, не кричите так громко, - сказала хозяйка, прикрывая мне рот. - Пароход уже прошел. Следующий будет завтра".

Я помог ей подняться, и мы, взявшись за руки, вышли на самый край оползня. Впереди, разбивая колесом воду и воздух, плыл сложный золотистый монстр с доверху набитой курительной трубкой. На светлом борту его сияло: "Св.Анна".

ПЕТЕРБУРЖЕЦ

"Я вам скажу лишь то, что знает каждый петербуржец: если Питер - это окно, прорубленное в Европу, то Москва - это окно, прорубленное в окно. Да-с, голуба, окно Москвы взирает на мир сквозь немые стекла Питера. Вы только сравните, сударь: "А из нашего окна площадь Красная видна!" и "На зависть грозному (понимаете ли: грозному!) соседу..." А? Какая разница зрения, какая гордая близорукость и щедрая дальнзоркость! А все потому, что у Москвы-старушки сходящаяся к Красной площади косоглазие, а то заветное западное окошко - слуховое, темное, где и слушать-то вроде бы неча..."

Естественно, это говорю не я. Это говорит он. Мы старательно идем по проселочной улице: дождь, дым, май. На плотах развешаны рушники и ружья, на плотах сидят мокрые горобцы.

"Полноте вам, Иван Никифорович, вы и в Питере-то никогда не бывали".

Иван Никифорович открывает рот и из него вываливается большое довгочхунье сердце.

"А вы, Иван Иванович, все та же птица!"

Мы миримся, потчусь табачком из табакерочки:

"Славный табак!"

"Одолжайтесь".

Природа сведена ранней судорогой. Из прокурорского сада несет сиренью и луком. Сыро. За мостом шаги: несут кого-то.

"А как вы думаете, Иван Никифорович, гадко теперь на кладбище?"

"Гадко".

Мы спускаемся вниз, идем краем церковного огорода. Впереди, развидняясь в тумане, красиво точит небо штык-молодец: Исаакий. Невская губа с вечным заячьим шлюзом. Под нею, навязчивые как родинки, челноки. Колонна с крайней плотью ростр. Покой и твердый хлеб.

"Завтра вечерний выезд", - говорит Иван Никифорович, садясь на камень. Утро кроткое, как утопленница. Баржа из Кронштадта: "Бодэ и сын". С Ивана Никифоровича течет, рукава его - как водосточные трубы. Утро обещает быть здешним.

"Бог мой, на чем это вы сидите, Иван Никифорович?"

Иван Никифорович живо встает, поправляет накидку и идет следом.

Над ним висит разомкнутая подкова Дворцового моста.

Светает.

ФЕЛЬДШЕР И ЖАННА

Больные все вышли. В кастрюльке вскипел вечерний шприц. Пришла и ушла уборщица. Запахло щами и святой водой.

"По коням!" - сказал Ионыч и тоже ушел.

Я закрыл аптечку на висячий замок. За стеклом пузатилась банка с мятными шариками, зелье. Кривой агитплакат "Ударим онанизмом по проституткам!" висел и висел.

"Маяковский", - подписался внизу Ионыч. Он шутник и золотые руки: дела своего слесарь.

Я достал свечу "нимфа" и зажег на ней волоса. Волоса вспыхнули. Семисотая страница "Общей патологии" заложена на гениталиях: третий год я поступаю в медико-хирургический. Трецит воск власовского

Андрей Кавадеев "Русский Лубок"

сало-завода: собачьи поминки. В аквариуме совокупаются сытые пивавки. Им хорошо. "Крайняя плоть", - читаю я. Изнутри кто-то всходит: крыльцо поет.

"Твою мать!" - говорю я, закрывая "Патологию".

Стучат робко - как надо.

"Дерни за шнур, сволочь!" - говорю я грубо.

Входит - живая, лицо злое. Смазливая.

"Посмотрите меня", - голос с акцентом.

"Фамилия?"

"Севрюгова".

"Имя?"

"Жанна".

"Пол?"

"Дама я".

"Иностранка?"

"Француженка".

"Фролкина жена?"

"Да".

"Раздевайтесь".

Я знаю ее: Фрол вывез с промышленной выставки. Третьего года...
Раздевается - совсем.

"Я не акушер".

Протягивает красненькую, располагается.

"Давно сыпь? Узлы болят?"

Ясно. Курю в окно:

"Офицерам сама скажи - пусть в Ростов едут".

"Мсье, прошу сохранить тайну. Лечите меня тайно... Севрюгофф
очень богат..."

В голову бьет общая патология:

"Я не венеролог!"

"Прошу вас, мсье!"

"Прием окончен".

Уходит. Крыльцо поет. "Нимфа" обгорела до бедер. "Крайняя
пло..." - читаю я.

Через час ко мне ломится Севрюгов:

"Жанна застрелилась!"

"В Ростов везите", - говорю я через щеколду.

"Говорят, она к тебе заходила?"

"Дурак!"

Засветло приходит Ионич и будит.

"Христос воскрес", - говорит он.

"Жанна", - говорю я.

ШЛЮЗЫ

Баргузин пошевеливал. Молодец плыл. Луизу прохватывало: речные звезды смотрели ясные, как глаза роженицы. Кочегар в иллюминаторе курил, имея в ухе колечко: далеко плавал. В одну сторону уходили берега – с черными гнездами и огоньками. Вода, раздавленная пароходом, шумела. Палуба надраенно блестела, цвела на ней канатная гадюка, и в красном пожарном ведерке розовел песок.

"Как дома", – сказала Луиза, глядя в ведро. Ветер лихо соблазнял ее невидимым одеколоном из матросского ранца. Дерево, просоленное насквозь немывтым телом, благоухало. Стручки брезента свешивались, созревая для кораблекрушенья. Томился воздух из Азова – невольник предосторожности и страха. Счастливо прозябая на палубе, Луиза читала по памяти "Булат", но все не могла вспомнить, что говорит напоследок злато, и от этого бесилась.

Пароход чуть повел носом и не спешил: волна разлиновывалась от него вертикально, спокойно. Уже вспомнив о муже и чае, Луиза мысленно уходила, когда упала внизу постоянная тяжесть оснастки, и пароход стал медленно тонуть вместе с водой. Обнажился кругом камень, и черные кольца, ввинченные в него, и несмываемая "БЕРА" наискосок. Луиза ужаснулась: корабль уходил в пучину с приливом внутрь. Внутрь уходили его трубы и колеса, жлобская палуба и спящая публика, капитанский мостик и кочегар с кольцом в ухе.

"Пожирает, пожирает", – мысленно жаловалась Луиза, погружаясь. Звезды теперь были высоко, как из колодца; камень становился зеленой и уже: водоросли ночевали на нем.

"Пожирает..." – стонала Луиза, в душе теряя спящего мужа.

"Если в карте есть живот, значит это – глобус, вот!" – напевала, примеривая к глазам невозмутимую голову кочегара: "Все куплю – сказало злато..."

Внизу оставалась только узкая борозда, плавник, с которого начиналось все, по чему плавали. Вверху оставалось то, по чему еще не летали. Когда наступил конец, рядом с луизиним локотком заблестела смуглая кожа кочегара: на его ладони резвилась татуированная щука.

"Шлюзы", – сказали сверху.

НИЛЬКА

Нил, Нилуш, Нилька, Нилыч, Гнилуша – все это имена одного Нила, потому что Нил – человек и крещен был, и наречен, и едва не утоплен в купели.

Андрей Кавадеев "Русский Лубок"

Что знает о себе человек с Христом на устах, сидящий на картонной паперти у магазина? Он знает ритм твоих ног и скорость твоей нерешительности. Он знает руку дающего: она ласкова и бела - на ней много жил и мировых линий. Он знает табак твоего рта: "беломоры" дают в рублях, "ява" кидает мелочь. Он изощрен в твоих носках и штиблетах: о, рвотный запах свежего гуталина и вечный плевок вдогонку! Рупии видятся ему высохшими цыганками, доллары - оранжевыми оугрцами, марки - фальшивыми лотерейными билетами.

"Ну вот, опять цыганку трахнул. Ну вот, опять огурчик съел", - говорит он в конуре "Заготконторы".

"Ты бы сменял зеленые, - говорит ему крученный меняла. - Хочешь, достану тебе очки?"

Но нет безнадежнее Нила. Ах, золотой Нилькин топчан - не матрас и не простыня покрывают твои грубые доски! Обилен ты весь, от головы до пят, грешными ассигнациями.

Ох, сколько охотников было до Нилькиного топчана: отпаривали кипятком и обливали уксусом, обдавали паром, грызли, кусали, пилили - все напрасно: кто не знает нилькиного особого клея от импортных производителей?

"Ну, пошел я в сберкассу, на девочек погляжу", - говорит Нилька, взбираясь на топчан.

"Все, девочки, ша! Денег в кассе нема", - говорит Нил, поднимаясь.

Его, естественно, бьют. Тем более, что кушает он на рубли, в "Бутербродной".

"Что вы, братцы, - говорит он взволнованно, - зачем мне прибавочная стоимость? Бьете, извиняюсь, третье стеклышко, а на кой? Ну и что с того, что любят деньги? Я-то их не люблю. Деньги, они как бабы, пристают, потому что липкие. Они меня клеют, я - их... Эх, братцы..."

Возвращается он вечером, вместе со всеми; поет желтый бобылькенарь, гири с часовыми косами опускаются ниже подола, хрустит призывная бумага, урчит газовый баллон на кухне.

"В Киев?" - спрашивает его обыкновенно Иван Никифорович.

"В Киев", - отвечает Нил.

ТАМАНЬ

Это только кажется, что напротив - Керчь, Мирмекий, Митридадова гора. Узкое горлышко Понта с ходящим туда-сюда кадыком: переправа. Здесь - обрывать следы и следовать крутому пляжу.

"За Таманью земли нет", - отвечает Азамат (слышится: Азазелл).

Андрей Кавадеев "Русский Лубок"

Он курит, он привел меня свыше.

"Якши, чек якши", - говорю я, отстегивая на водку.

"Вестимо", - говорит Азамат.

Мы прогуливаемся, и темный гений места носится над нами. Вода - красна, но фиолетовы ступни в ней. Водяная акустика: ритм розыгрыша. Слух обращается в патефонную иглу: белеет парус, чуден Днепр. Чудна Кубань? Ан, нет! Все по ролям, как близнецы: Днепр - чуден, Волга - мать, Арагва и Кура - как две сестры.

Паром белеет.

Азамат сходил за калачом: калач - тертый. Крахча хлеба и край суши - перепутан, я солю воду: соль не тает, а плашмя опускается вниз.

Азамат смеется:

"Море пересолил".

Дойти до края и дрожать. Живет в Тамани и ныне мальчик-поводырь. В школе и дома - контрабандист, как все малороссы.

"В село идем. Мясо есть", - говорит Азамат.

Вопиет во мне что-то, и не иду я.

Охота к перемене мест - охота к перемене чувств.

Я - чувствую. Какая удача!

Вознаграждение - высылкой и ссылкой.

Хочешь в острог, а попадаешь в музей: Молдавия, Крым, Тамань, Тмутаракань.

Сколько вериг - столько музеев.

Ни Тверь, ни Шуша, ни Гулаг - не бог, не царь, не герой: нацмен.

"Куда это вы, Андрей Юрьевич?"

"В ссылку, брат, на Соловки".

"Группой или так?"

"Этапом".

Скрывайся, Бог, в Волоколамске: я - любер, я - нацмен. Я - меньшинство нации, следующее в ссылку от большинства.

Мотаясь по местам заключения гениев, я постиг, что воздух ссылаемых портит экологию ссылки.

Ах, Тамань, ты вся осталась на бумаге: живет твой смех, и ночи, и звезды - все там, а здесь - паром белеет, дыра, дыра...

Сибиряки, спасайте Север: Гулаг вам даром не пройдет.

Ах, Васюки, куда вам до Гулага!

Вернулся Азамат. Вежливый и пьяный.

"В село идти надо..."

"А Тамань?"

"За Таманью земли нет", - отвечает.

ВАЛЬСЫ СТРАУСА

Соловей свистит, в кустах поют курортники. Над озером носится горячий воздух; прачечная тубдиспансера встает до соловьев. Мы блуждаем в пижамах, как крепостные - завтра оброк. Самые смелые берут плот и плывут прямо до острова: там беседка, рыбак, окунь. Тяжелый селезень лениво поклевывает мякиш: свежевыврашен к чаю. Пасха кончилась, берега вымощены яичными изразцами. Скоро чай. Тянет дымом и огурцом. Нежно подвозят Федора Ивановича. Кушетка скрипит. Сиделка рвет фиалки и покусывает их у основания.

"Мало, говорят, осталось смелей".

"Мало, Федор Иванович".

"А у пчел, говорят, слишком маленькие рыльца".

"Маленькие, Федор Иванович".

Они едут дальше. С другой стороны озера:

"Окуньков удите?"

"Ужу".

Куда как хороши и зелены волны, и белый таз на самом дне - приданое утопленницы. Скоро чай, а после чая заиграет радиоточка. Полноценный баритон в доме: диктор. Вчера давали "Жизнь за царя" - все подпевали.

Лица читающих в стекле - библиотека. Ибсен, Гоголь... Го-голь. Гоголь - совсем не фамилия, кличка. Колька Гоголь, Васька Каин, Федька Конь. Путаются в истории, бывая поочередно: Васька Гоголь, Федька Каин, Колька Конь; Федька Гоголь, Васька Конь, Колька Каин...

Гоголь - птица - голубица.

Гоголь - Моголь - Гог и Магог - Ван Гог.

Возвращается Федор Иванович: скрипит наст под полозьями. Сиделка вьется рядом, как практикантка. Как бабочка.

"Чуден Днепр?"

"Чуден, Федор Иванович".

"При ясной?"

"При ясной".

На острове расставляют столики, чашки. Печенье, чай, сахар. Опоздавшие молча идут обратно. Светло, свято.

Ощущается пульс радиоточки: в эфире плавают чайники. Музыка срывается и кусает: красные плавники и жабры. Крутится вал штраусинового вальса. Платья дам обрастают рюшами.

Танцуют - все.

Андрей МИХАЙЛИЧЕНКО

СПЛИН

поэма

Кому по высшей режиссуре
Что велено – о том не споря,
Я захотел в простом разборе
Затронуть все аспекты дури.

В дальнейшем же словесном соре
Законов нет и категорий,
Опричь законов диких прерий
И категорий диких тварей.

* * *

По потерявшимся де-юре
Объявлен траур априори,
И всей наличной конъюнктуре
Не сдобровать в таком позоре,

А кто-то просто ищет двери,
Плутая в темном коридоре,
Приговоренный к высшей мере
И утвержденный в приговоре,

Но все же, безотчетно веря
Своей реакции вратарьей,
Не помышляет ни о каре,
Ни о реальности потери.

* * *

А поутру алело хмурей
Дурнотной выворотной хмари,
И недостаток в стеклотаре
Взывал о вводной процедуре.

* * *

Но вот взошла как на опаре
Вся необузданность эмпирий,
И бесконечность звездных ширей
Вместилась в крохотный виварий,

Андрей Михайличенко "Сплин"

И кто - шутя и балагурия,
 А кто - с немой тоской во взоре,
 Бытуя в грязной гидросфере,
 В одной струе светлей лазури,
 Другой - темнее киновари,
 Истаяли в едином море...

(Не в смысле - море, пляж и взморье,
 А в смысле - полный мораторий
 На право жизни, от империй
 Вплоть до колоний инфузорий.)

А кто-то, храброй мысли чирей
 Взлелеяв на тигровой шкуре,
 Идет вперед, навстречу буре,
 И удит рыбку в мутной тюре,
 Чтоб захлебнуться в рыбьем жире.

И все слепилось в этом мире
 В единый сгусток жижи карей,
 И пара лунных полушарий
 Над ним нависла, как в сортире.

(И в упоительном клистире
 Здесь наступил предел цензуре.)

* * *

И в каждой Божьей увертюре,
 И в ладно скроенном клавире
 Звучит лежалость плоскогорий,
 Полузаброшенность факторий
 И зачумленность акваторий,
 И лишь езда в таксомоторе
 В любимый таксолепрозорий,
 А, может быть, - в фуникулере
 Из Забайкалья в Приамурье,
 Тоску по фауне и флоре
 И в машинисте, и в шофёре,
 И в ездоке, и в пассажире
 Зажжет огнем во встречной фаре
 Или горящем светофоре.

Андрей Михайличенко "Сплин"

* * *

Что толку грезить о Шекспире,
Тагоре, Шелли и Бодлере! -
Катайся сыром в камамбере,
Чтоб, похлебав духовной тюри,
Согнуться в творческом запоре

И выдать на-гора и горе
Художество в такой манере,
Что кинет камнем пролетарий,
Отлитый в бронзовой скульптуре.

* * *

Но все - в ампире и гравюре,
И все - в велюре и темпере;
Алкая модных бижутерий,
Людмила сходит в гроб к Тамаре,

Царевны спящие кемарят,
Лежат Снегурочки в пломбире,
Чтобы проснуться в новой зре
И дубу дать, у Лукоморья,

Течет бензин в Гвадалкивире,
Будя желание в Анчаре
Лекарством стать, а гордый Мцыри
Уже схоронен в Бабьем Яре.

Мужайтесь, ветреные дщери,
Но не забудьте о партнере,
Или, скорее, подмастерье
(О Дон Жуане - Командоре),

А вы, поклонники цифири,
Так любящие счет в купюре,
Итак учтете, кто в Диоре
Разодевался в пух и перья,

И в будуаре - в пеньюаре,
На серебре, на мельхиоре,
И на меха - пушные звери
Уходят из самой Сибири,

Андрей Михайличенко "Сплин"

И все - в сафари и в сапфире,
И все - в имбире и в глазури;

А в каждом генном инженерере
Сидит мечта, как в матадоре -
Бараний рог: чтоб не по паре -
По меньшей мере по четыре;

Но нет желанья в акушере,
И кесарь не идет к секире,
И все - в привычном перегаре
И в непрерывном перекуре,

И все - в фужере и в кураре,
И все - в кагоре и в мадере,
И все - в водяре и в соляре,
И все - в натуре и в ажуре.

* * *

А ты поешь, бренча на лире,
Или, скорее, на гитаре,
И в духе музыки пиццерий
Чего-то модное кантаря,
Невыразимое в фольклоре.
Ты - вне сомнений в Божьем даре,
Как будто в солнечном ударе
Кольнешь воздух в атмосфере
Последовательностью серий
Неслыханных доселе арий,
И льешь истошный писк комарий
Вдоль да по спектра партитуре.

Нет бы - послушать комментарий,
Когда луна, себя сощуря,
И небо в звездном абажуре,
Подсказывает: мол, афере
Твоей конец приходит вскоре,
Уж лучше, вида не состаря
Свободы воли на просторе,
Спокойно сделать хакири,
Открыв задумчивость артерий
Сидящим в ложе и партере,

Андрей Михайличенко "Сплин"

Как в многоспальной дромадере,
И тем блистательность феерий
Умножить и в клавиатуре,
И в радиоаппаратуре,
Возобладав собой в эфире,
В болезненном, последнем оре.

* * *

А в темной черепной пещере,
Как в каменном резервуаре,
Витают в собственном фаворе
Огромный мозг, в тяжелом вздоре
Вскормленный, как мечта в амфоре,

В его раскроенной тонзуре,
Как крест в раскрашенной тиаре,
Как статус трехпудовой гири,
Лежат обрывки предысторий
С останками былых мистерий.

Он не щадит килокалорий
На производство сверхтеорий,
Беря провиденье в Гомере,
Безбожие - в Анаксагоре,
Любовь к фигуре - в Пифагоре,
А многознание - в Т.Л.Каре;
Раскованность - в Багдадском Воре,
Отсчет истории - в Авроре,
Живую воду - в Мертвом море,
А гибельную - в Гибралтаре,
Нарез из мяса - в Сев. Пальмире,
Пельмень - в бою при Порт-Артуре,
А сигарету - в портсигаре.

Он, бедный, весь - в температуре,
В дымящемся, бредовом жаре,
Весь в детской левизне и кори,
Не подчиняемой микстуре.

И в вещества непрочной сери,
В полузамедленном аллюре
Блуждают мысли по подкормью

Андрей Михайличенко "Сплин"

В предсумеречном, злом угаре,
В происходящем в микромире
Канцерогенном жадном пире,
И эту явную вечерю
Питают ядом аллегорий:

О еле видном в дальномере
У астронома суперстаре,
Об очень странной авантюре
Считать себя за планетарий
(И все - в поляре и в надире),
О чабане и об отаре,
О рядовом и командире,
О кумаче и о фанере,
И что при входе в крематорий
Нет нужды помнить о швейцаре,
О полу женского эсере
С целебным ядом в револьвере,
И как жилось бы при Тимуре
(В каком-то смысле - пионере),
Или в похожей диктатуре,
И в прочей своре и холере
(И все - на сваре и из хвори)...

* * *

...И бродит, рыщет предкошмарье
Лихого Царства в предсимбирье,
Но не родится государя,
И в этом - Высшее Подспорье.

Софья КУПРЯШИНА

"БЕЗ СНОВ"

ПРОШЛОЕ

Я так соскучилась по ней.

Именно в этом доме мне кажется, что она сейчас войдет. Вот висит ее курточка - и она еще пахнет ею. Вот ее лампа - это с кухни - в голубых клеенчатых полосочках. И когда утром, в тех же звуках, в тот же час, из комнаты с печкой выходит другая женщина - я едва сдерживаю крик.

Я так соскучилась.

Мне снилось мое отражение в зеркале - в совершенно другой цветовой гамме - примитивный мажор цветного телевизора: бледно-синее лицо и - на виске - две ярко-фиолетовых жилки. И я понимаю во сне, что долго не протяну. Я чувствую степень своей разрушенности и ужасно хочется жить. Но все мои люди - большая часть - уже на том свете, и мне там будет лучше, хотя многое еще надо искупить.

Увязший в снегу автобус Тарковского, внутри снег, снаружи нацарапано: "Мирра и Отто".

Я не возражаю, может быть мое утреннее воображение слишком фаталистично. Я не возражаю. Но захотелось вдруг того мира - благо, почти истреблен. Мирра Липкина, гешефт с шубой, бикицер...

Бабушка:

- Да, Лаз Борищ, да. Вы уверены? Безусловно. Безусловно. Да.

Она разговаривает по телефону; я прижимаюсь к ней, трогаю рукав мягенькой немецкой кофточки такого уютного цвета; домашний запах подсолнечного масла, и ее тела, и протирание очков, и бесконечные записи на календарных листах: "14.00. ЦДРИ".

Звонят без конца - всем что-то нужно: совет, билет, пообщаться, пригласить выступить. Она - лояльна. Она отодвигает трубку от уха - картинно - изображает невыносимость дальнейшего слушанья: брови Пьеро, глаза наверх; я пролезаю к телефону и слушаю; она смотрит на меня...

- И вот, Эсфирь Владимировна, такая выходит ситуация... - быстрая россыпь ерунды. Она перехватывает трубку, чтобы сказать "да, да!" И мы смеемся. И скоро обед. Придут Циля с Розой, Вера, Рита, люди, люди - а мне страшно - столько людей!

Обед в столовой. Достается мельхиор и серебро, и тончайшая перламутровая лопаточка с позолоченной витой ручкой - для торта. Супницы, салатницы, и из "Праги" принесенные вкусности. Одно из вечерних черных платьев с кружевными рукавами, фамильная диадема и тонкое кольцо...

Софья Купряшина "Без Снов"

Они умерли целиком, умер тот мир, тот народ, тот дом, наша столовая, наш милый черно-лиловый "Шрёдер", но до меня иногда долетает музыка, откуда-то сверху. Шопен.

Я стою в снегу перед снежным полем. Пустые деревянные дома напряженно гудят; гирлянда лампочек по веткам уходит за угол снега и высвечивает его. Гулко бьет высокая колотушка моего утра. Редко. Здесь есть провода, и ворота распахнуты настесь: вход и выход. Здесь граница пространства и времени Зоны, и стоит автобус Тарковского ("Мирра и Отто"); кости людей укрыты снегом; на стульях - бугры моих внутренних звонов. И флейта. И скрипка. И фagот. Отчего же я плачу?

Лес входит в меня.

САНЭПИДЕМКА

- Санэпидемка тута... Нечего, нечего.

Концы платка и рта опущены. Высокая, худая и одновременно обрюзгшая. Зеленые тени, щеки болотного цвета, без конца отряхивает руки, будто от крови или потрохов...

- Нечего!

- Как же они выживают?

- А никак. Обращаются. Кому надо - тот выживает.

- А врачи?

- Врачи... - (недовольное жевание) - Делать им больше нечего, врачам.

У врачей дела есть. Отовариться, конфеток, фрукты дают, надбавки, по кружке молока...

(Достает сверток журнально-газетного образца с черствыми кусками: желтый сыр, черный хлеб. Заботливо воссоединяет. Здесь же оказывается и жидкий чай, в домашней чашке с рисунком "Глухарь" и темными ободами предыдущих чаепитий. Она восстанавливает для себя еду в большом (даже эстетическом) удовлетворении. Руки трудно и тщательно двигаются, дрожат, комбинируют. За сеткой - копошение. Брезгливая кошка поводит ушами и отворачивается от обсосанного хлебного эллипса...)

- Санэпидемка, конечно, - она продолжает собственный старый разговор, быстро облизывая руки после неудачного кормления кошки.

- Я вот их спрашиваю - что же вы? А они - что, мол? А Ванятка...

В коридоре, где разговор уже оформляется геометрически, звучит эта однотонная речь, загораются и гаснут лампочки, покрашенные синим, хлопают двери лифтов или камер; она не прерывает разговора, не видит, что я ухожу; она давно уже ничего не видит и забыла, что

импульсом ее оратории была я; теперь она обращается к кошке или к лампочке; вся ее сила вкладывается в помешивание несладкого чая; грохот ложечки и смех - настигающий:

- А я что? - слышу я уже на улице. - Уж это как выйдет: если кто и помрет - пойдет в план, нет - опять премия. И мы не в обиде. (Ложечка грохочет с силой турбины. Света не прибавляется.)

БЕЗ СНОВ

Она вдруг как-то тупо затосковала по его телу и запаху. Просто - потрогать, просто - потрогать. Просто. Что это? Какое-то житейское хотение - уже на изломе, на исходе дня, после форсирования себя и работ, на пределе, когда воспаленные глаза прилипают к предмету столь бессмысленно, сколь цепко. Как же немощно распускался живот, и все эти старые тряпки с вытянутыми резинками - будто тоже напрягались, и - почти привычка: перекрывать боль в суставах коньяком, и все эти мечты, и разговоры со старым зеркалом - только тренировка мышц лица, и завтра ты вернешься к своему подвальчику и венику, и попросят убрать еще там-то и там-то, и снова все это затянется дотемна, потому что ты заснешь, сидя на подоконнике.

И снова - ведра, свет, знакомые звуки; плотник пришел. Она будет долго смотреть на него, узнавая. И узнает, как всех и вся, поймает и ту интонацию, и тот жест, но он, как и многие, испугается ее взгляда, потому что там будет что-то вовсе нечеловеческое; может быть, страсть. И он уйдет, и опять в полубредовой комнате ползать и чувствовать, как уменьшается горло до точки; и тогда вдруг будет какой-то момент - ночью - светло: сыплются текстики, как крупа, кто-то гладит и говорит: "Вот только пить тебе не надо..." А что же еще делать? И - диалог.

Это будет не выздоровление, а знамение, уже на той грани, за которой - конец; и она как-то вывернется у пропасти, сделает нечеловеческое антраша, и останется сидеть на той же койке, с прожженной обивкой, в окружении странных людей, которые ждут, когда она заговорит, или когда ее можно будет раздеть - и все это тот же бред, не приносящий облегченья, но дающий телу разливающую силу и кошачью мягкость для того же ведра и того же коньяка...

Огромные мусорные коробки с яркими картинками стоят вежами в этом дворе.

Все эти абстрактные советы - под пиво в выселенной комнате, где в огромной ванне лежат свежесрезанные веники и одеяло. Тот же пейзаж сквозь стакан, та же глухая стена.

Софья Купряшина "Без снов"

- ...Да нет же, конечно. Конечно. Мышцы съели мой мозг, любовь - красоту; я жду тех, кто живет в Большевикском переулке, в выселенном доме при винном магазине; они звали меня в комунну - я им подхожу; то, что было мне дано - забудется, а обостренное внимание будет вынуто...

- Что? Я не помню, я уже плохо помню - только стыдно будет встретить кого-нибудь из знакомых. И вести я себя буду так, чтобы меня поскорей зарезали. Или чтобы зарезала я: это проще. Несколько лет я представляю себе это: он спит, как тогда, в ботинках и куртке, и называет меня сквозь сон чужим именем, и друг его спит на нашей постели, поперек; они выпили четыре бутылки и будут еще; и я беру длинный выжавленный нож, лежащий в бумаге с селедочным маслом - главное, длинный, чтобы достать до сердца, и, от детского ужаса получить двойку, не могу вспомнить, где право, где лево. Он лежит на животе - значит, сердце - справа, потому что если перевернуть, то слева. Где же сердце - выше? ниже? - не попасть бы в ребро...

- Таня, - рычит он сплошным бессогласным рыком: - Танюша, сними брюки!

- Сейчас тебе будут брюки! - "Танюша", значит? Нож входит нормально и тут же - назад. И еще раз. Он тонко ахнул, одновременно трезвея и теряя сознание, и я прикрыла его детским одеяльцем, вместе с ножом. Входит его сын с другом, им открыла соседка, он просит разрешения поправить здоровье, и я говорю: тише, он спит; возьми там, под столом. Я ухожу очень быстро, пока кровь не начала просачиваться из-под двери, и - думаю я - они в любом случае не скоро спохватятся. Передо мной длинный нож в селедочном масле.

Снова, по порядку: комбинезон, который нет сил чинить, перекрашенные носки, губы - карандашом, замататься платком, бесформенное чужое пальто, складки его кожи пропитаны пылью, чужие ботинки, руки в карманы - перебирать два пяточка, и куда же - по вечному ветру - к ведрам? к одиннадцати? К чему прислониться - к жестяному холодному памятнику; а он, трагически усмевающийся, всегда трагически, скажет:

- Посмотрите, какая у нее рука...

А другая уборщица в это время пыталась утихомирить свою бровь и читала для успокоения "Пионерскую Правду", найденную в актовом зале. Вчера она пила 12 часов непрерывно разные напитки: сухое, коньяк, водку, кагор, снова вино; бровь колотилась, как сумасшедшая: уборщица придерживала ее рукой.

Она подняла с полу апельсиновую корку, откусила край и стала жевать. Все-таки она закричала вчера - после гроба с разорванным

голубым шелком, после поцелуя на морозном кладбище - тихом и солнечном; ей даже хотелось стройного могильщика в зеленом свитере - он колот ломом замерзшую землю; думала, как он приходит в кладбищенскую комнатку со старыми обоями и выпивает с остальными... Все это было неясно, заторможено. И закричала она в неудобный момент - при гостях - длинно и надсадно. Гости уже давно говорили о другом и вдруг - затихли. Ночь была тем же бессонным, бессмысленным подливанием...

Прежде она не думала, что люди спят на ходу, но теперь она шла домой и спала - крепко, и снилась ей снежная дорога.

Вскоре обе уборщицы сидели вместе, на чердаке, в том самом Большевицком переулке.

Трудно сказать, когда посыпалось время; я лежала или сидела, меня разматывал вихрь ее миниатюрных прикосновений, на мне были чужие слезы; я проглатывала холодные коньячные вздохи.

Заколка отскочила в темноту, туда же отправились две пуговицы. Она меня как-то развинтила, расслабила, и у горла стояло нечто ледяное. Только бы не вспоминать, что это напоминает. А завтра - снова сворачиваться, смерзаться, и в туалете, перед зеркалом черного гладкого камня, прижигать разбитую губу...

Она рассказала мне свою историю. Краденая помада - колония в восемнадцать лет - девочки-припевочки - все как обычно. Я никак не могла понять: как же она жива - вот, смотрит на меня, улыбается, метет по пять часов в день, вечный ватник, мышцы плеч (и у меня тоже), стольник - в месяц, но в ней нет ни одного живого места: что отбито, что вырезано, остальное перешло в хронику; ежедневные мучения; не будет детей; в оставшееся от подметания время она смиряет боль - в основном этим делом... "Васька умер двадцать седьмого, а кому я теперь нужна?" Лицо ее - искусственно. Упругие, крепкие морщины, красные руки, неимоверна тоща и выветрена. Скепсис - октавами; мы сквернословим, поднимая брови: я - правую, она - левую (детский тик). "Вот зубы вставляю - пойду блядовать".

Мне было стыдно сидеть рядом со сгустком боли; я чувствовала себя - здоровую теплую тушу, и - в странной дрожи брезгливого страха, желая и жалости - целовала ее руку; а она гладила меня по голове.

Кто-то сказал надо мной:

- Молодая такая, а уже...

Нельзя сказать, чтобы я упала с грохотом, но... с бульканьем. И потом, стоя на четвереньках посредине асфальта, долго думала:

Софья Купряшина "Без Снов"

чем он пах, жестокий? Мне казалось, если я опущу голову и сожмусь, меня не увидит никто, и я уползу сквозь водосточную решетку - тюремное окно с шумящими бурными водами - и почувствую былой детский объем свой - голова-изюм. Полость, полость. Раскачивание и смена объемов - ты видишь темноту? - полосы по стенам: едут воронки - решетчатые окошки их прокатываются по стенам, и долго дрожит еще та часть тебя, на которой ты лежишь, и застучит - отчетливо, тепло: в пятке - сердце.

Мне приснилась война.

ОКНО

Я впервые созерцаю этот протяжный вечер. Возникает покой - он пенист - каждый отдельный его пузырек сохраняет объем отражения. Выговаривается что-то - уже по инерции - в незнакомом тепле, без похмельной дрожи, и буквы тонут в глине покоя.

Но вот - лают вокруг, гремят кувшины, хрустит балконный песок, звякает кафельный пол - все пропало. И пахнет сосисками. Я снова ощущаю свой объем болезненно привычным образом: все точки-боли, тонкое курсирование желаний - они заполняют меня. Я беру сигарету. Мне хочется сделать движение пролезающего в пещеру. Из розового камня ушел свет, он стал серым. В уютном карцере я потихонечку точу о бетонный пол уже давно спрятанную ложку; сколько прошло с начала собачьей свары? С новым сигналом надо начать раскачиваться из стороны в сторону и после не выдержать, упасть, поползти до шкафчика, сделать привычную операцию - и увидеть снова свой покой, чувствовать прикосновения, и замирать единым целым с огромными шелковыми руками, и далекие звуки не слышать, а только подразумевать, как грунт картона, как смерть человека, который никогда не посмотрит на тебя, как прежде.

Раздражение - кафельное скрежетанье - вторая доза - третий час... вот и пауза. Когда нет времени пожалеть свое горло, надо пожалеть Бога. Яркие, чистые сумерки наступают на всех картинах; только в окне нет ни единого огня.

СТАРОЕ ЗЕРКАЛО

Все уже дошли до определенной кондиции нетребовательности; кроме того, действо обещало прорицательски-хриплые интонационные узоры; после жаркого блюза, после злобы дня - "Ладно, давай!". (завуалированное нетерпение). Обыкновенно я разогреваюсь к середине текста, обыкновенно я не люблю извинительных предисловий, обыкновенно меня выматывает это чтение, как портового грузчика. "Ладно, давай!"

В старом треснутом зеркале несколько лиц - мое и родных. Девять пауз. Лампа наклоняется.

С Л Е П А Я

Старушка, входя в лифт, сказала мне: "Милая, какой ты молодец!" - потому что я подала ей руку. Она была совершенно слепа и улыбалась. Когда наши руки встретились, я вспомнила, как мы шли по двору с бабулей; она опиралась на палку и на меня и говорила: "Коша, скоро я совсем не смогу ходить..."

Мне стало страшно и захотелось принять что-нибудь - от страха; мне представилось, что я так же протягиваю руку - и жду ответной руки, и оборачиваюсь; пустые грани пространства валяются на меня соснами - это странное чувство: тоннель страха - длинный и темный. В каком-то ступоре я вернулась в комнату и долго смотрела на блик магнитофонной клавиши. Был жаркий озноб, глаза раскрывались все шире, и мне захотелось узнать, жива ли я на самом деле, и тогда я позвонила - первый раз за многие годы - по забытому номеру, припоминая с каждой цифрой человека. Я дрожала все сильнее - и удивленно-безразличное: "А, привет..." - подтвердило мое предположение: за то время, пока я работала, меня почти не стало. Оставалось принять что-нибудь, тщательно покурить и заснуть, чтобы во сне увидеть себя живой.

Б Л Ю З

Разблюзовка блюзовиков в мокрой деревне Сычевке. Холодно касаться инструмента. Фагот достает термос, саксофон-баритон играет челюстями: не завтракал, искурился. Голова. Надо принять чего-ни-то. Спиртообразное... Вишня... О, вишня, ворованная в соседском саду! Там-то крупнее. Дожить бы до двух, не истрясаясь, не скрежеща, а тихонечко, на лесенке с дедушкой предаться его бреду и покурить. Купить черствый пряник, мечтать о кофе, назвать Фагота так, как он этого заслуживает. Жмот термосообразный. Бутербродная бездарность.

Дребезжит рассвет: мокренькой жестяночкой по мокрому песку. Бригада крышеделов. Лица пунцовы.

- Сколько спал?

- Да мало.

Зажигалка плавится. Непроизносимые согласные в корне "искус". Рассвет - брезжит, брезгует, дребезжит - огромный бумажный круг. 15-80. Два часа сна. Не любит. 9-60 - три такта, два тракта и освещенный. По мокрой деревне за молоком. Он будет валяться в палатке и

Софья Купряшина "Без Снов"

вдыхать звук своего имени. А варить – не все ли равно, что? Можно даже рис; фигуры, а не имена вытанцовываются. Пил с квадратом и была одна треугольная... Такие острова. В угол его – Искус-Иисус... Когда это кончится, я приеду туда отъедаться и выздороветь. Запах кухни – совсем как запах тела. Но ни одной папиросочки: дедушка при смерти. Это после дождя. После ужаса утра. Ничего, мы еще немножко походим к вечеру, мальчики, найдем таких же девочек и посидим без представлений и поклонов. Наши девочки нам простят мордобой и пере-сменки. Они умненькие и, в общем, гораздо сильнее нас; вечные, как куриные ноги: только твердеют и твердеют, и знают, что любить их нельзя, а только бить.

Итак, расстановка! В мокрой деревне, возле виселицы пели птицы.

ВЕЧЕР

Холодная синяя сталь приятна теплеющим пальцам. Слово жили Иисуса – нервы натянуты. Скоро будет время мольбы. Я слушаю тело. Но нет сил видеть что-нибудь, кроме рук, слышать что-нибудь, кроме повторов. "Сними мне тоску стаканом виски".

Поздно, листья улетают с кровати и, падая, под звуки аккордеона, я успеваю почувствовать желание; во сне хочется пить. Я хочу сказать что-нибудь, глядя на рубиновый брус чердака, но понимаю, что это бессмысленно. Розовые дома инородны.

Девочка в апельсиновом пальтишке держит в руках дощечку; темно-карие глаза; такой свет может быть только осенью – словно целый день заходит солнце, и сочные рыжие тени на всем. "Сними мне тоску – как кольцо". Поздно. День высветляется по краям, как бумага, и так же сгорает.

УБИЙЦА

За стеной лежал разыскиваемый преступник – на редкость застенчивый, кудрявый – а мне снилась тюрьма.

Малолетки любили меня слушать. Не то, чтобы это были какие-то особенные рассказы, а просто у меня был некоторый крен в мимике и всякие приправы, так что выходило смешно. Взросляк была моя смерть: там бы мне быстро вынули мозги, а малолетки пока еще услужливо подбегали и как бы проверяли меня наощупь – неужели может существовать добрая баба, которая ни разу никого не тронула (первая)? То треплет всякое, а то уходит в угол, сидит по-турецки, раскачивается, закинув голову и сжав губы, и тогда ее надо оставить в покое, иначе...

Из главных разговоров: что, где, у кого начало болеть. Потом - секс. Потом: где бы, у кого бы, чем бы "догнаться". Цены и споры. Заложит - не заложит. И капельку житейской философии. Слишком много бессмысленных действий, чтобы возник голод по мысли. Слишком много тут всякого зелья, чтобы помнить прошлое. Слишком много народу.

Есть "мальчики", есть "девочки", а у меня три роли: мама, мальчик и девочка. Пять лет разницы - от 17 до 22 уже дают эффект материнства. Иногда какой-то посторонний (вольный) звук, или наши сырые сумерки, или наши странные ночи - что-то сдвинется, проявится, но меня разбудят на ночной пир - и снова соло, и попробуй отступишься. Разборы, которые нет сил слушать. Я уйду в свое логово, идут картинки, идет тоска, кто-то подлезет ко мне под бочок: пьяные слезы и исповедь, а завтра заложит. Спи, мой маленький, завтра - в изолятор.

Я слишком привыкла держать себя в руках, чтобы выйти из этой роли.

То, что случилось с моей бедной двойницей, которой прощалось и разрешалось все, было красиво и хрестоматийно, и ни с кем, кроме нее, произойти не могло. Весьма и весьма преступный человек облюбовал ее для женитьбы, пригрозил ей крепко: пистолетом с глушителем, повел в скверик (сие происходило пустынной ночью), рассказал свою жизнь и задумал было что-то нехорошее, но она свела его ко мне, дабы убийство и насилие разделить со мною по-сестрински. Было как раз три часа ночи, и так славно спалось после какого-то стыда и обмана. Ее выгнали все любовники, у коих просила она защиты, ибо, как огненный шлейф, шел за нею убийца, которому, по его словам, было уже все равно, а убитых им по сей день не нашли, и вообще - вышка: перестрелять замки и только, какая разница - пятнадцать или пять, а что до милиции, так они крепче всех с ним повязаны, а улики никаких - что милиция! Так и шли они, покуда не решили заглянуть ко мне, в мою келейку, где давно уж поселились гоголевские гомункулы, и мало было слышно про людей.

Так случилось это освежающее мероприятие.

Бедная девочка была в полубормочном состоянии. Он покраснел, когда ему предложили чаю, и спрятал ноги под стол. Я, предчувствуя бессмысленный разговор, была зла: очередная бессонная ночь убрала во мне все лишние чувства. Прежде, когда она издевалась над моей мнительностью и нервностью, мне казалось это признаком силы, равно как и ее постоянное улыбочное чутье на жизнь, которого мне так недоставало. Для контраста она выдумывала даже про какие-то мои припадки (а, может быть, и не выдумывала), считала меня не в своем уме и толковала о том, что я, по ее мнению, сильно распустилась от

Софья Купряшина "Без Снов"

тоски. Я поила ее с нежностью и думала, что она действительно во многом права, благодаря своей цельности. Мой ум и ее безумие на время менялись местами, и мы шли в этом вихре всклокоченной речи, где поэзия была обыденна, где громоздились изысканные доказательства чьей-то нелюбви и порочности, и заканчивался этот вихрь всегда в одной и той же точке: "Едем к нему!" Все падало и рушилось, но над всем этим стояла ее мудрость и рассудительность; вечная перспектива открывалась моему взору: почти итальянская пустыннось с парой облачков, бледные и, к тому же, выцветшие миниатюры моего будущего.

Теперь, жалкая, дрожащая и влажная, она занимала меня как вещь, обретшая новое качество (тело ее стало большим и теловким, она двигалась по кухне, будто гигантская синяя рептилия, а глаза ее были унылы и почти бессмысленны); занимал меня и преступник – по соображениям вполне понятным... Я даже внутренне повеселела и захотелось пить, и бить бутылки, и пуститься всем троим в оргию, но она (органичнеее из существ!) все путалась в посуде и почти не владела речью, а он со стеснительной развязностью, почти детской, пытался поддержать разговор и все смотрел на нее неотрывно.

Его история была такова: отца и мать убили поделщики, когда ему было шесть лет; он убежал и жил в детском доме, пока не пришла пора заняться фамильным ремеслом. В нем так и осталась та пульсирующая любовь, он так же пах молоком и выворачивал губы в улыбке. Самой трогательной частью его были носки (не знаю, отчего мне так казалось?) – они были средоточием полубездомного существования, хотя были целы и относительно чисты – пестренькие дешевые носки – они жаждали именно деревянных патриархальных половиц, не-городских движений.

Вскорости они ушли в указанную комнату. Смерти не было. Моя роль была сыграна, но не любима мною. Я заснула от собственной ненужности.

Мне показалось, что за окном – зима, и кружит обычная, ржавая в искусственном свете метель, и бессонные окна напротив холодны. Весь день был под знаком зимы; отбирание свитеров и носков, длинная подготовка к первому снегу и ко времени, когда по улицам с желтыми фонарями я поплыву отдельно и стремительно, давясь воздухом, отдаваясь ему и выискивая формы, дотоле невиданные; когда я, окруженная формами, буду видеть лица и вести нескончаемый разговор в своем воображении; он поглотит меня настолько, что я не услышу реальных разговоров. Но отработанные тембром окончания не захотят ложиться на бумагу, и я тихонечко сверну свою кухню, спрячу ведро в кладовую и снова пойду, наслаждаясь формами старыми и новыми, пустыми и заполненными действием, блестящими антрацитом окнами с золотыми (будто оправа пенсне) перегородками; формами, подсушенными снежной крупой и фигурами

из каучука и меди. Серые кепки, подвижные лица – только многоугольники с запахом винным и ветренным, только очередь, а на другой стороне, напротив слепого здания, меня ожидает кофейня на четыре столика, где снова сменился хозяин, и в ассортименте – трубочки с кремом. Я загляну в кофейный колодец и увижу: круг замкнулся. Далее следуют: пустая весна, гулкая подворотня и ранний троллейбус.

Утром выяснилось, что она сбежала. Преступник стоял под дверью туалета, робко постукивал и уговаривал ее выйти. Он не знал, что дверь в туалет иногда открывается туго. Брюки его в дневном свете оказались довольно поношены, но красив и мужествен был обнаженный торс. Я толкнула дверь с силой, и она распахнулась; он жадно глянул туда и уныло побрел в комнату – переживать свой напрасный монолог.

После короткого разбора в утренней кухне мы сидели уже без нее, пили чифир и разговаривали, приласкивая друг друга глазами...

– Я ее как увидел – все у меня будто перевернулось внутри.

– А пушкой-то зачем пугал?

– Не знаю даже. С дела мы шли как раз.

Вот и этот пришел ко мне исповедоваться. Ну что же? Положим, я умею держать себя в руках; положим, я не так уж беспомощна и бездеятельна. Но зачем мне подтверждение моих добродетелей, если их не к кому применить?! И после этого всплеска своей годности снова пойдут месяцы полусна, или пьянства, или гаденькой, мелкой, иссасывающей ненависти, и, видимо, те нечеловеческие усилия, употребляемые мною, чтобы не броситься на человека, пригодились вчера – в дозе гораздо более слабой. К чему все это геройство и все это сознание своей ценности, если меня не хотят купить, если со мной страшно иметь дело, если меня никогда нельзя срисовать или присвоить – если я этого не захочу, а если захочу, то еще хуже: я начну ползать в присутственных местах, на коленях, и кричать: "Не оставьте, батюшка!" – а людям это неприятно...

– Ты скажи мне, что она любит: я женюсь на ней.

– Пепси-колу, водку, пиццу – все любит.

– А детей-то она может рожать?

– Наверное, может: под пушкой-то как не родить...

Бессмысленный, бессмысленный, святой мир. Оба глаза – один с неимоверно расширенным зрачком, второй – почти без зрачка и будто присыпан золотой пылью – оба глаза мертвы. После "дела" он ходит по парапетам. В прошлом веке это был бы заправский жених: засылал бы сватов в картузах с георгинами – под гармонь.

– А мать-то у нее как?

Небо над нами уже расписано фломастерами, становится душно,

Софья Купряшина "Без Снов"

и оживают квартирные запахи, а он все сидит.

- Когда на нее свет-то упал, во мне будто что-то перевернулось.

Что за миссия - исповедовать влюбленных? Что за мука - знать, что про тебя так никогда не спросят! Как хочется крестьянину одеть барское пенсне, так мне хочется сватовства. Но обособленность каст жива, как и биологические законы. Я равна ему по силе, но не по касте. Меня можно уважать, но нельзя любить, ибо любят - свое. И как бы ни было целебно прикосновение человека другой касты, оно - холодно.

(Вспомнился случайный гадатель в старом захлавленном парке. Он был молод, служил в департаменте, находился в состоянии развода, и заехал в этот старинный сад сразу после процесса. Он довольно-таки смело взял мою руку, но увидел там нечто такое, что весьма его смутило.

- Ну, что же там?

- Вы меня извините... Мне очень неловко... - (мучительный выдох).

- У вас будет много мужчин...

- Так это я знаю. И уже, собственно...

- Да, но они вас любить не будут. Любить будете только вы.

Он ушел в боковую аллею; разрешив так внезапно и окончательно множество проблем (своих ли? моих?). И не было больше ни единого дня такой счастливой ясности - это я могу сказать точно.)

Мы сидим уже около двух часов, и вдруг, после ночного страха, я неимоверно напрягаюсь, и так тяжело его присутствие, так пусто: он - минус-человек, от него пахнет падалью; а ему хорошо здесь - он расслаблен и скучен. Теперь - во мне его пустыня, все его "дела", и сон тот - его сон; реакция нейтрализации совершилась. Мой тяжелый жест, его теперешняя услужливость - все это противно!

- Ну, ладно, - он тщательно, по-деревенски прощается - чуть не с поклоном и, запасшись уже мысленно гармонью, георгинами и пепси-колой, отправляется в дальний путь.

Я трогаю темную последнюю траву на гобелене и чувствую, что поднимается температура. В грохоте рассветных строительных работ и уже теплеющем воздухе я читаю свои старые ощущения. Моя обычная реакция на стресс - простуда и легкие галлюцинации. Осенняя трава выходит за пространство гобелена. Она почти мертва и прохладна. Пасутся лошади у разрушенного барского забора; упавшая балка преграждает им путь в далекий желтый лес; осень висит в воздухе - то ли нотой, то ли гармонией, и черная лошадь оборачивается на мой взгляд.

У Т Р О

...Я снова ищу его в большом лабиринте коммунальной квартиры; открывает некто (никто); далее - из сумбура смежных комнат формируется женщина в зимней шапке: она считает на счетах.

- Простите... - начинаю я.

- Нет, нет, минуточку, - она считает.

Эти неподозревающие, безмятежно-сосредоточенные глаза... Если бы она знала, кто я! Дальше и дальше, прячась и радуясь сей опасной игре, уворачиваясь от взглядов и недоумений, я проворствую в этой старорежимной конуре. Все дышит страшным словом "ЖЕНА".

...Никчемный поэтишка, враль и хитрец, ораторствовавший в кабаках и считавший количество блюдец от рюмок коньяку, умер вчера так же наглядно, как жил. Он умер от печени, в шубе и шарфе, в чужой квартире, не допив бутылку можайского молока из молочной, что на улице Вожирар...

Сколько женщин было у гроба - молодых и старых, с печатью продажности и клеймом таланта! Все они молча смотрели на яркое лицо шута, и каждая вспоминала свое.

От запаха табаку, волос, после ночи дождя, в этом утреннем холоде хочется обрадоваться тому, что так тихо, и это - пятница, и не было страшно и стыдно всю ночь. И уже помнишь: осень, прохладно, костры расставлены, как ловушки счастья; необязательный урок, засохшая конфета, выпавшая из прежней жизни строка...

Именно тогда мне не хотелось, чтобы меня замечало утро: я была с ним единым целым.

* * *

Зуфар ГАРЕЕВ

СТЕРЕОСКОПИЧЕСКИЕ СЛАВЯНЕ

Как же все это было? Да, вот так и было. Он кричал, он держал руками стены, перебегая от одной к другой, но штукатурка летела уже с потолка, трещины бежали все дальше и дальше. Толстый красный слесарь пил пиво в слесарской, надувая щеки под портретом рыжей певицы. Певица - нога на ногу - держала бокал и подмигивала из-за него. Слесарь ревел, метался, скалил зубы, бросался животом на стены, а она подмигивала и подмигивала ему, протягивая золотистый бокал. Наконец он рухнул, уснул, разметав богатырские руки, распахнув бесконечную грудь. Михайлов сжался в углу. С наступлением слесарева сна ошметки летели медленно, невесомо, ничьей заботой не удерживаемые: летели вместе с полом, с потолком, с домом - с одинаковой скоростью относительно космоса, с одинаковой задумчивостью. Слесарь спал, ибо по природе своей хорошо реагировал на алкоголь, но был диэлектричен как эбонит. А случилась эта магнитная буря на Земле в четырехтысячный год полета сосны на дальнем высоком солнечном берегу. Случилось это в неизвестный год полета серой древней птицы над сосной, над берегом, над Землей. Птица хищно щурила свой узкий глаз, слушала посвист воздуха под своим крылом. Девушки в расплывающемся доме плакали, цедили сквозь зубы холодный воздух, стайками слетались к дверям. Потом дом рухнул. Они успели выскочить в ту самую секунду, когда серые громады бетона пронеслись за их гибкими спинами и даже чиркнули их по распущенным волосам. Их волосы мгновенно вспыхнули голубым светом, который озарил землю во все концы. Птица сощурилась. Ей стало видно - как глубоко внизу, мощно бушует прозрачная, мерцающая многоцветьем электрических полей, магнитная буря; как безумно скачет в ней голубой шарик.

Они убежали в город: растворились на улицах, в деревьях парков. В них стало светлее: они застыли в деревьях как сны, изваянные голубым воздухом. Летящие, они зывали о помощи, но только изодренная мысль могла их заметить, откликнуться - для остального мира они были невидимы. Михайлов уцелел тоже. Когда рассеялась пыль, когда стих грохот бетона, визг стекол и скрежет арматуры, наступил розовый пустой вечер. Поблескивая, словно слюда, крылья растерзанной бури висели на деревьях, громоздились на крышах, валялись на асфальте. Он шел по краешку осторожно, словно боясь порезаться. За ним потянулся участковый Иван Анисимович. Подозвал Михайлова к себе и, вытаращив от ужаса глаза, ткнул пальцем в звездочку на погоне. Вместе они пересчитали количество ее концов. Вечер гас. Алый ветер тронул волосы

Михайлова. Михайлов стал удерживать на своем теле расползающуюся одежду. Ткань расслаивалась в пальцах, клочья ее потянулись в небо, за щербом, за щепками. Пальцы Михайлова беспомощно опали.

"Опали, ишь ты..." - пробормотал Иван Анисимович, просыпаясь июльским полднем, делая рукой жест... когда гонят с глаз дурной сон. Лицо Михайлова стало таять, хотя июль не торопил Ивана Анисимовича к пробуждению. Он просыпался постепенно, медлительно проникаясь ощущением собственной руки. Она с занесенным камнем домино парила над его головой. В последний раз внимательными глазами оглядел Иван Анисимович пространство своего исчезающего сна. Образ Михайлова отлетал стремительно. Его лицо было теперь от участкового на расстоянии примерно от двух метров до трехсот километров. Надо сказать, что участковый, согласно профессиональной принадлежности, крайне любил филигранную точность своей мысли. С тем самым, однако, глаза его снова стали слипаться. Пальцы ослабли, а камень в свободном полете отделился от них, медленно тронулся в путь - набирая по наклонной высоту, неспешно поворачиваясь боками. Его товарищи по двору - шофер Извеков и стрелок ВОХР Герман Сысоев - тоже медленно парили рядом. Извеков, будто утопленный в вязкой жиже, нес свою руку к голове. Это имело целью почесать в озадаченности затылок. Рука его, на первый взгляд недвижимая, имела, однако, на себе все признаки перемещения в пространстве и времени. Она - от плеча до локтя - была освещена нынешним полднем. Остальная часть ее была тронута тенью наступающей ночи. А самые кончики ее пальцев озарял восход завтрашнего безоблачного дня, блиставший, впрочем, на его черных, заскорузлых ногтях тускло, невнятно. Иван Анисимович, почти что горизонтально зависнув над столом, выплывал к центру доминошной кочерги, и лицо его выражало благодостное удивление: "Рыба? Значит, рыба?" Часть его круглой, внимательной головы - собственно, плешь - была уже посеребрена первыми сентябрьскими заморозками. Она была словно бы слегка просунута в осень. Другая часть его головы - от затылка до шеи - дымилась прошлогодним февралем, его поземкой. С оснеженных плеч Ивана Анисимовича сочилась вода, сверкала и пела ручейками - это нынешний июль ласково дышал над его спиной. Пахло прелой листвой. И даже сам слесарь был как бы здесь, во дворе. Он выплывал - довершая экспозицию - с четвертой стороны; головой вперед, выкатив свирепый глаз из-под шапки-петушка с надписью "СПИД", словно бы собиравшись сказать: "Где же рыба? Ты глаза разуй! У него конец пятершный, считай!"

"По сути дела, рыбой и не пахнет", - раздумывал Иван Анисимович, открывая глаза, оглядывая двор в той несомненной реальности, которая сейчас очевидно распахнулась перед его внимательным взором. Он увидел:

Зуфар Гареев "Стереоскопические Славяне"

во двор въехала графитово-серебристая "Вольво". Богатая женщина-кооператор Чепурная вышла из нее. Она в тот день приехала удостовериться: по-прежнему ли скученно и бедно живут в этих коммунальных квартирах? Она получила удовлетворение. Все также что-то жарили с луком, на постном масле, соседи. Михайлов спал в своей комнате при открытом окне, в которое сыпались дневные июльские звезды. Чудный блеск озарял все вокруг, сон его был легок, серебрист. Он был на грани с действительностью, грань эта зыбко подрагивала. Июль солнечно мелькал в листве, глубоко дышал над Москвой, звенел на трамвайных путях, блестел на прудах, погружал в голубую дымку зеленые парки... "В самом деле, так оно и есть..." - умиротворенно стал рассуждать Иван Анисимович, но внезапно услышал отчетливое бормотание Германа Сысоева над ухом: "Ё... Приспали малехо, а? Слышь, Ваня, говорю, приспали малехо..." "Точно", - сконфузился Иван Анисимович и в следующее же мгновение, широко открыв глаза, стал с совершеннейшим вниманием, а время от времени и с тончайшим психологизмом вникать в явь, открывшуюся его мысли. Отчасти она была теперь обновленная, хотя соседи по-прежнему что-то жарили с луком, на постном масле. Михайлов высоко сидел в своем узком, криво летящем к небу, окне, трогал рукой ветку в голубой банке и умирал над этой сиренью. Падала его долговязая голова на подоконник, а обморочная сирень нежно клубилась над ней. Соседи - интеллигенты в первом поколении - встречали гостей. Уже кричали люди в их комнатах, уже били ложки в плошки, уже несли кровь и зелень, уже полны были стаканы - уже хрипели они, наседая друг на друга повсеместно:

- Это наш русско-еврейско-калпакский вопрос! Это наш советско-человеческий мыслительный труд!

Чепурная прошла по комнатам, прыская из аэрозольного баллона в подмышки, наклонив вбок массивную голову - тяжело, величественно, словно бы в черепе ее была заключена громадная духовная сила, требуемая для осмысления того, в каком же направлении относительно космического пространства несется ее грузное, неуправляемое тело и сколь же мощна окажется сила этого полета, если она, Чепурная Виктория, вдруг вздумает в полёте напрочь повалить деревья в тайге, что сделал в свое время тунгусский метеорит, воспоминание о котором внезапно пришло в недюжинный ее ум. Михайлов оцепенел, глядя, как ловко мелькает в ее руках лакированный, яркий баллончик, полный фреона. У нее в подмышках начиналась озоновая дыра. Ему в лицо дохнуло губительным космическим холодом; ярко, ослепительно блеснуло ультрафиолетом. Он бросился прочь. Кожа его мгновенно покрылась большими красными пятнами, голова и тело неимоверно чесались. Что несли теперь

его гены человечеству в наследство: микроцефала? дауна? или какое-нибудь чудище? Чепурная удивленно подняла брови. Ярко щелкнуло над ними статическое электричество. Ортодокс, прилепавший невесть откуда, встал столбиком рядом, вытянул узкое, гадкое лицо вверх. Сквозь мелкие зубы он цедил воздух. Чепурная погладила его по голове - по жиденькому, парящему покрову, напоминавшему волосы. Тот замер, остановил глаза, подернутые розовой мутной пленкой, на Михайлове - Вий в человечесий росточек. Михайлов вздрогнул и открыл глаза, оглядывая сверху двор. Иван Анисимович по-прежнему парил над доминошным столом, на лице его было все то же благостное удивление в отношении предстоящей "рыбы". В частности, он размышлял: "Тройки все вышли, вот они, все семь штук передо мной... Рыба, как ни крути. Причем здесь пятерки? Нету пятерок ни на одном конце... Придремал, видимо, Герман... Ишь ты, это все **новый французский роман** балуется... как же, читал, знаю все эти штучки-дрючки, ё..." Периферийным зрением он остро оглядывал двор. Чепурная спала, наполовину вывалившись из дверцы "Вольво", как подошедшее в кастрюле тесто: головой на земле, ногами на мягких сиденьях. Словно бы какое-то время назад неожиданный взрыв, причину которого не мог уразуметь ее недюжинный ум, пытался было разметать ее тело: сообщил каждому члену его противоположные векторы, и они полетели было в разные стороны, но были удержаны в покое центростремительными силами единства ее плоти. "Слышь, Ваня, приспали мы малехо..." - снова услышал Иван Анисимович над ухом. Он понял, что обращаются к нему уже не в первый раз, но только теперь понял, что все это время его окликал голос Виктории. Он легко разлепил веки. Чепурная, сняв руку с его прелого, местами журчащего плеча, подошла к машине и села. Робкие девушки сбежались к дверце, заплакали, размазывая по лицу прозрачный макияж, прикрывая голые груди белыми слабыми руками. Михайлов поднимает свою обморочную голову, некоторое время сидит, покачиваясь в сиреновом дыму. Потом бросается вниз, бежит вместе с девушками за отъезжающей машиной, бежит и вскрикивает:

- Виктория, дай две копеечки, на морожину, на пирожину... Или позвонить!

Чепурная выходит из машины и, под непрерывный дождь цветов, которые падают и падают из рук девушек, сует ему две копеечки, напутствует:

- Хоть позвонить, хоть позвонить, дружочек ты мой березовый...

И вот автомат, вот коричневая трубочка, вот дырочки с цифрами, вот пластмассовый диск - кружит туда и обратно, а вот снимают трубку на том конце и Михайлов слышит:

- Ты дворник, ты сторож, а также истопник первой категории - вот!

Зуфар Гареев "Стереоскопические Славяне"

- Нет! Нет! - с ужасом отшатывается Михайлов. Он - стремглав из будки, он - прочь; опережая тоскующим телом глаз свой, стреляющий из морщин, которые кругами, кругами... так, что если бы вздумалось ему сейчас в свое утешение потянуться за убегающими девушками, схватить их за руки, прижаться щекой или бережно подуть на пальцы, серебря их своим дыханием - выдернули бы они пальцы из его ладоней и стали бы говорить ему, как порой он говорил себе... Только зрачок у тебя молод, только зрачок бесноват, а вокруг него наверчено лабиринтом лет старое веко, морщинное веко. А еще дальше вокруг наверчено морщинами хилое тело, и огонь зрачка уж не достает его окраин, и оно, там, в полумраке, в запущенности лет, живет сиротливо, живет испуганно. И что-то уже случилось в том мраке, в той запущенности - что-то опасное, необратимое. Оно крадется к зрачку по лабиринтам и скоро, совсем скоро иссушит тело твое, превратит его в крохотный комочек, и в комочке этом потухнет зрачок твой бесноватый. Вот как ты наказан: нет тебе главного - ни тела, ни любви; ни любви, ни тела!

Нет, только не это! Бежать, бежать по городу, смотреть, заглядывать, бежать, словно голодный зверь по следу - найдется любовь, найдется тело.

Иван Анисимович все тыкал и тыкал с ужасом в звездочку на своем погоне, но Михайлов, не оглядываясь, уходил в город. Когда совсем стемнело, хлынул дождь, он застал Михайлова в какой-то глухой улочке. Дождь глубоко шуршал в ветвях. Он нигде не начинался и нигде не кончался. Земля, качаясь в его шорохе, засыпала. Редкое, слабое электричество, контуры домов в этой улочке - все эти знаки можно было легким усилием воображения стереть в памяти, прислонить щеки к ветвям и дождю, чтобы они остудили кожу до своей беспристрастной температуры, до холодной своей чистоты: и дождь, и ветви; и ветви, и дождь. Редкие окна, редкие машины, редкие фигуры прохожих - все это покачивалось в его мозгу зыбко, призрачно. Все это то вдруг отступало далеко-далеко, то приближалось - и окна горели: то вечно, то гасли сейчас, сегодня, в этом году; и прохожие то спешили безоглядно, то оборачивались - слабо, тайно взмахивали рукой и тихо шептали, качаясь вместе с ним: и дождь, и ветви; и ветви, и дождь...

"И тайные слезы, - шептал он в ответ, - и тайные слезы..."

Он шел за ними по воде, глотая влагу, стекавшую по лицу - жадно, словно собирался испить до конца всю горечь будущих дождей в один день, сегодня, сейчас: горечь, отпущенную ему до скончания века. Но фигуры терялись в ночи: за углом, за поворотом, в подъездах. И вскрикивало его ревнивое сердце; и, брошенный, он бежал снова и снова, и возвращался к исходной точке, в кривую арочку, освещенную бедным, тусклым фонарем... Он слушал ночь... снова вздрагивало его

хищное тело: он чуял кого-то, чуял что-то. Вспыхнувшее окно, пробежавшую собаку, далекого прохожего. Все давало ему знаки: легкое шевеление зеленой шторы, пальцы, мелькнувшие в открываемой форточке, милые узкие плечи, скользнувшие в стеклянном подъезде. Исчезала тогда тоска - изматывающая кости, тянущая жилы - и можно было тогда упоенно шептать: и дождь, и ветви; и ветви, и дождь... Только они знали про охотника. А он, в свою очередь, просил их не пугать, не выдавать прежде времени его замысел.

И его тайные слезы - горячие, тайные слезы.

И уносили их с собой: и дождь, и ветви, и ветви, и дождь...

Так прошла эта ночь. Он уснул на рассвете, когда дождь стих. Он уснул под деревьями, уснул на холодной заре, усталым, лошадиным лицом ей навстречу. Она склонилась над ним, она коснулась холодными пальцами его лба и долго сидела рядом, задумавшись. К полудню в маленьком солнечном парке стало тепло. Он перевернулся на живот, нащупал пальцами под прошлогодней листвой мощные корневища и долго не убирал своих рук. Дремлющим глазом он видел ноги прохожих, видел птиц на траве, чуть дальше - мочившихся собак; слышал гул проснувшегося города. Скоро в парк пришли перекормленные дети с маленькими заплывшими глазками. Почему-то их было много. Нездоровая белизна их лиц пугала синюшным оттенком. Кроме того, его поразили неестественно крошечные ногти на их пальцах - по форме они напоминали птичьи коготки.

Сначала они визгливо кричали над ним, потом стали перепрыгивать через него, иногда наступая на голову, на спину, на ноги. Рядом, пася их забавы, что-то ласково бормотали толстые старухи. Холодно, недобрительно поджав губы, поглядывали они на чужака. Постепенно в голосах перекормленных детей он стал различать что-то птичье. Каждый из них, хихикая, норовил ущипнуть его. Щипали они все больше и больше, за одно и то же место, визгливые голоса их все больше и больше походили на птичьи вскрики - вскоре ему казалось, что это птицы кружат над ним и клюют его череп. Он теснее прижимался к корневищам, дрожь пробегала по его телу, а крупное лошадиное лицо его страдало. Они выщипали в его черепе дырку, взвизгнули, когда пошла кровь, и бросились врассыпную. Михайлов вскочил - струйки пара метались над его головой.

Много дней в парках солнце мешалось с дождем, ликующий ветер с облаками. Дождевые воды, стекая с деревьев, потоками неслись по земле. Размывая корневища, они неслись к далеким рекам с чистой прибрежной галькой. Торжественное солнце мощно излучало золотой поток, и в загадочной флоре парков завязывался пар. Он восходил к небу, превращался в дождь и вновь падал, прижимая к земле кипящие деревья.

Зуфар Гареев "Стереоскопические Славяне"

Много девушек пробежало в парках этими днями - еле касаясь легкими ступнями голубых блистающих потоков, рассекая узкими грудями воздух. Далеко ему виделось этим летом, во все концы, сквозь извилистые расщелины, нагроможденные бурями, шумом и скоростями. Горячечно грустил он о теле и любви - и ликующий кипяток бежал по жилам Михайлова, свистел и бил паром в черепной дырке. Но некому было погладить его по худым лопаткам, некому было заглянуть в лошадиное лицо его и проговорить что-нибудь вроде:

- Ну-ну, Каланча, успокойся... Что это ты дрожишь так: крупно, дико?..

Вечера были строгие, прохладные - чуждо отражались в его карем, влажном глазу, на самом днище. В деревьях темнело, розовые облака расстилались невиданным ландшафтом. Бедная грудь его была беспомощна. Вечера крали из нее сердце, и оно летело по алым долинам в никуда, вечно, крича и плача детскими слезами...

Днем, в окнах многоэтажных зданий, он отчетливо видел множество ортодоксов. Они безглазо скользили мимо столов, мимо друг друга, сливались в серые сплошные пятна, но снова начинали плодиться: надвое, натрое, на множество особей. Они копошились в бумагах, в ящиках столов, испускали шорохи изо ртов в телефонные трубки, открывая мелкие зубы. Он отчетливо слышал этот чудовищный, гигантский шорох, который производили они вокруг: шарканьем, копошеньем, разговорами, касаниями друг о друга своими серыми хитиновыми покровами. Он был повсеместным, этот шорох; казалось, не было уголка на земле, куда бы он не мог проникнуть. И в этой его повсеместности, неистребимости была заключена какая-то жуткая тайна, в которую невозможно было проникнуть разумом.

- Что ж задремал ты? - визгливо вскрикнул над головой Михайлова Иван Анисимович.

Михайлов поднял сонную голову с погона участкового - щека его была отмечена пятиконечной вмятиной.

- Слышь, чего говорю: оставь свои страсти темные... Будешь сторожем - займешься луну голубую качать над зданьями нашими... Или дворником - снег наш сгребать... Фигурная, понимаешь, гребля...

- Мысли бегут, - отвечал Михайлов, - из проклеванной головы моей. Не знаю счета, письмо забыл...

- Что ж задремал ты? - снова визгливо вскрикнули над головой стрелка Германа Сысоева. Сысоев, крайне сконфузившись, поднял голову от накладной. "Принимаю упрек твой, Извеков", - подумал он. Извеков тыкал пальцем в бумагу:

- Видишь: пункт один - везет накладенное. Пункт два - буки, к бортам прислоненные. Пункт три - прочерк...

- Вижу накладенное, буки вижу прислоненные, а прочерка по пункту три не вижу...

- Что ж ты! - и вместе они стали углубляться в содержимое документа. Сысоев, в прежней тихой дреме, под звуки клаксонов на проходной, водил пальцем по цифрам. Он задумчиво вслушивался в поскрип фаланговой косточки, неторопливо размышлял: "Кости мои все при мне; как же, нельзя теперь отложить это обстоятельство в долгий ящик... Годы-то вон как незаметно подкрались..."

До слуха его донесся шорох. На его скрипучей шее лежала заскорузлая ладонь Извекова. Сам Извеков, вслушиваясь в скрежет выворачиваемой сысоевской шеи, клоня все ниже и ниже ее к земле, раздумывал: "Выя-то у него покамест дюжая... шестьдесят лет ей, не больно свернешь... скрипит, плачет, господи-батюшки... Ладно я прилачился, рука у меня крепкая... детство у меня, понимаешь, деревенское было, голодное - служебное, значит... много книжек об нем написано, крепкий мы, понимаешь, народ выросли..." Герман же, прислушиваясь к скрипу шеи, как прислушиваются к непогоде за окном, думал: "Ладно прилачился, черт... никак жила лопнула? Точно, она... даром, что ли, взвизгнула, словно подрезанная... Поземкой с плеча потянуло... ишь, февраль-то как ярится..." В согласии с его наблюдением, с века Извекова посыпался снег этого года, а сам он заиндевелой свободной рукой стал отдирать прошлогодние листья с головы. Герман, взбодренный морозцем, неугомонно воскликнул:

- Так где у тебя в кузове пункт три - прочерк?

- Погоди ты, ё... вцепился, - бормотнул Извеков, сплевывая листья, налезавшие в рот. - Полезай, да посмотри, если невтерпеж...

И они, барахтаясь, не расцепляясь, полезли в кузов - на ходу чертыхаясь, плюясь хвоей. С их спин валился снег, метель стала Герману присыпать веки, но, отлетая в далекий, детский сон под ее рев, Герман чувствовал, что цепкая клешня Извекова на его шее не слабеет. Герман качался в далеком полусне, и память, словно убавкивая, все шептала и шептала ему: **то заплачет как дитя, то заплачет как дитя...**

Зимний день к тому времени завершал свой короткий круг над их головами. Буря стихала. На черное небо высыпали алмазные звезды. Из-за виска Извекова, из-за плеча его, припорошенного снегом, отчетливо выделялись Герману острые, бескрайние сугробы. То открывалась, словно бездна, во всю свою пугающую ширь, русская ночь. Украшенная, впрочем, далеко скользящими маленькими золотыми санями, похожими на старинный изящный вензель. То проносился в них бессмертный кучерявый арап. Созерцая чудные эти сани, Сысоев с восторгом думал: "Внезапно голова моя открылась для крупной, бесконечной мысли!

Боистину не властны мы над ее озарениями..." В самом деле, в ней стало видно бесконечно далеко, до самого лета, до чудного июля, полного серебристых падающих звезд. В глубине дней, телескопически раскрывающихся друг за другом, в глубине лета, в произвольной его точке, откуда оно с точностью геометрического чертежа равномерно распротранялось во все его концы - стоял Михайлов. Долгий, плоскозадый, он оборачивался к Сысоеву, и глаз его - влажный, коричневый - тоскливо врался из плена лошадиного лица.

- Разве уже зима? - спросил он грустно.

"В самом деле..." - рассудил Герман, продирая глаза. Из окна проходной в совершеннейшей реальности он видел железнодорожную насыпь, по которой брел Михайлов, слегка покачиваясь, то ли от голода, то ли по причине глубокой призрачности, зыбкости своего земного существования. Брел, оглядывался, звал куда-то непонятной мыслью, шептал трагично: "Разве уже зима?" Герман сплюнул досадливо и бормотнул:

- Каланча - он и есть Каланча, чего с него возьмешь?..

Ударили клансоны за воротами, заматерились шоферы, и Герман вышел поднять шлагбаум. Из первой машины выскочил Извеков и, скрипя сапогами по снегу, молодежато ими постукивая, стал приближаться к Герману. Молча схватил его за шею и медленно стал гнуть к земле. Герман снова с удовлетворением стал прислушиваться к поскрипу шеи, рассуждая: "Ишь, скрипит-то как... Словно тополь многовредный..."

- Разве уже зима? - спросил Михайлов грустно. Мерно падала его фроза в пространство, он вслушивался в шелест ее, в ее шорох. Взгляд его упал на корпуса завода холодильников, что лежал ниже и поодаль насыпи. Отсюда же начиналась озоновая дыра, от завода тянулся вакуумный, космического холода тоннель. Птицы, случайно пересекавшие его, замертво падали на путепровод. Проехал тепловоз. В высокой кабине сидел светлоглазый машинист с застывшей веселой улыбкой на лице. Он был мертв. Волосы его, брови и лицо были посеребрены космическим холодом абсолютного нуля. След тоннеля лежал на земле: широкая полоса пожухлой травы тянулась по ней, взбиралась на заборы и здания, уходила за город, пересекала кольцевую, дальше и дальше - сквозь дни и ночи, высвеченная то утренним солнцем, то лунным светом, то теряясь в дожде и тумане, то блистая полуденным снегом. Она ползла туда, к Антарктиде...

Он заночевал этой ночью в полуразрушенном доме. В полночь - проснулся. Его разбудил шорох ортодоксов, который слышался отчетливее обычного. Его стало мутить. Он схватился за живот. Шорох и запах подавляли психику, волю к жизни. Михайлову казалось, что сейчас его рывком вывернет наизнанку. Он лег на пол, закрывая уши и нос - но

не было ему спасения. Скоро он стал различать в глубине этого шороха слабые человеческие голоса. Он сел и стал вслушиваться, потом подошел к окну - покачиваясь. Серая масса - может быть, это было тело гигантской змеи? - текла равномерно в слабом люминесцентном свете. Лицо каждого из ортодоксов жило какой-то своей мелкой суетливой жизнью. Казалось, они что-то грызли на ходу, быстро работая челюстями. Глазницы их - подернутые розовой кожей, слепые - были устремлены в затылок друг другу. Кое-где слабо поблескивали золотые оправы очков. Звуки человеческих голосов приближались. Он стал различать поглощенную потоком женскую фигуру. Женщина кричала что-то, прижимая к себе детей - к хилой, недоразвитой груди. Ее несло потоком, все тише становился ее голос, все ниже к земле клонилась ее голова. Дети тоже кричали что-то, повернув лица в сторону Михайлова.

Это были его жена и дети - он узнал их мгновенно. Она упала на колени, потом на оба колена - снова ее скрыло потоком и понесло. В конце улицы рука выплеснулась в последний раз и все исчезло: и крики их, и далекие лица. Очнувшись от потрясения, он бросился на улицу. Ортодоксы были уже далеко, на других улицах. Здесь же был только их след: склизкий, белесый, словно проползла по городу гигантская улитка. Воздух был гадко напоен тяжелой влагой этого следа - воздух не рассеивался, а словно бы прилипал к стенам домов, к деревьям. Михайлов бежал по следу, подскальзываясь, шмякаясь лицом и руками о тротуар, о стены - его звал несмолкающий голос жены и голоса детей. Ему казалось, что они еще недалеко - там, на недалежней улице, за углом, за киоском, за остановкой. Он бежал, обезумевший от боли и нежности, весь в густых ошметках студенистого белка.

- Фигурная, понимаешь, гребля, - пробормотал Михайлов, поднимая голову с подоконника.

- Вот про то тебе я и толкую, - откликнулся во дворе Иван Анисимович, продолжая парить над столом домино, озабоченно соображая: "Где-то я упустил скоротечную долю секунды... В сущности, молниеносным ударом то ли Извеков, то ли Герман сделали "рыбу". Не углядел..."

По всей коммуналке несло жареным луком. В соседском застолье всё кричали и плакали буйные и тихие люди. Но день клонился к вечеру - они постепенно засыпали, роняя головы в плоски. И спали они до зари. Холодная, она проходила по комнатам и там, где длинным своим платьем она касалась предметов, вдруг вспыхивало огнем вечности и мгновенно обгорало. Мгновенно ложились глубокие, необратимые морщины на полувывернутые, вздыбленные лица, на искореженные руки. Мгновенно седели людские волосы, а она задумчиво оборачивалась на следы своих беспечных деяний, на разбой пищи и бутылок, на всхлипы, шорохи, на бормотания

Зуфар Гареев "Стереоскопические Славяне"

человеческих жизней – изношенных, пустых.

– Спорить не буду, зима это... – успел пробормотать Герман, все глубже и глубже проваливаясь в свой ублаживающий шепот, уже почти что не слыша шороха ладони Извекова на своей шее, уже не различая его глубоко заснеженное печалью медитации лицо: **то заплачет как дитя, то заплачет как дитя...** Вновь в неизбывной темноте русских ночей блеснул перед ним золотой изящный вензель саней гениального арапа – и так явственно, что Герману показалось: еще мгновение, и он увидит его лицо, выглядывающее из-под сверкающего бровового воротника, увидит узкую его ручку, которой он, чисто по-женски, сделает туда-сюда, тик-так, словно бы балуясь, словно бы назначая бесконечно открытого для крупного размышления Сысоева то зверем, то тем самым дитем...

И тогда метнулся Михайлов в доме к искалеченным окнам и закричал:
– Это зима?

И ветер вырвал этот крик, понес по пустому белому городу и долго рвал его в закоулках:

– Это зима?

И тогда он выскочил на улицу, и тогда он запоздало обвинил горячими руками дерева, взмолился, карабкаясь глазами все выше и выше, торопясь за полетом золотой сосны, уносящей на своем стволе в тысячелетнюю бесконечность лето:

– Это зима?

И тогда запоздало он сжался и мокрая одежда его, обнимавшая пожившее тело, пошла паром, и ветер стал трепать этот пар над бедной головой его, засвистел в дырке, и полетел по безмолвному городу белый шепот его:

– Это зима...

Листьев нет, дома алые, словно огонь. Протянешь руку погреться – мгновенно пальцы покроются инеем. И губы тоже.

– Да откроешь ты глаза или нет?! – услышал над собой Герман голос Виктории. Реальное тепло кабинета быстро обволокло его тело, и он, пробуждаясь, открыл глаза, понимая, что нечаянно вздремнул, притулившись к Виктории, в тот самый момент, когда она брала красный карандаш, придвигала к себе исполкомовскую папку, чтобы наложить на очередной бумаге очередную резолюцию. В сущности, сон его длился не более пяти секунд. Виктория только-только наложила резолюцию. В момент, когда Герман открывал глаза, она все еще отодвигала лист бумаги, который побывал под ее карандашом. Дверь открылась, вошел Михайлов. За его спиной мелькнуло удивленное лицо секретарши. Пришлепал ортодокс, встал рядом с Викторией. Вскинул лицо вверх, втянул сквозь мелкие ощеренные зубы воздух.

- Какое дело у вас? - спросила Виктория.
- Бумага о проклятой голове моей, - ответил Михайлов.
- Бумага о проклятой голове его, - повторил ортодокс.

Он замер, вытянувшись в столбик. Незрячие зрочки быстрыми желваками бегали под розовой кожей век. Герман улыбался притягательной улыбкой безусловного коллегиального расположения к решению вопроса в духе времени.

- Оставьте документ, - кивнула Чепурная. Она поднесла палец к дырке, зацепила струйку пара, примазала к заявлению, положила поверх кипы, размашисто начертав: "На аналитически-углубленное изучение - Сысоеву. В мгновение ока исполнить; дело не требует отлагательств!"

- Ждите ответа, - кивнула она. Ортодокс страстно поцеловал ее в губы. Чепурная прикрыла веки, тяжелое тело ее впало в сладостный раж. Потом она оторвалась от ортодокса и в упор посмотрела на замешкавшегося Михайлова, величественно вскинув голову, обрамленную пылающим медным волосом. Серьги ее тяжело дрогнули, качнулись: будто бы в это мгновение была включена скорость, и Виктория начала движение с нуля. Воображение Михайлова легко продолжило траекторию ее движения в пространстве и времени. Прибавив к земной начальной скорости движения ее ума и тела (что в физике обозначается "дельта- V -нулевое") стремительную скорость полета Земли в абсолютном пространстве (это было " V -космическое"), можно было представить скорость ее полета. В сущности, колоссальную и ужасающую - при том, что в пространстве комнаты, по отношению друг к другу, они находились в покое, и лишь тяжелые серьги ее подрагивали, наводя ужас на Михайлова. В этом подрагивании он различал скрытые чудовищные силы, векторы которых разбегались от центра тяжести ее ума и тела, и действовали по отношению к ним на разрыв. Быть может, лишь серая древняя птица, летящая над землей, ронявшая с крыльев пепел и пыль давным-давно сгоревших городов, библиотек и музеев - лишь она спокойно щурила узкий глаз, в котором не было ни мысли, ни чувства. Она устало взмахивала крыльями, на которых лежал свет уже завтрашнего дня. Она видела то, чего еще не мог видеть Михайлов. Ранним солнечным утром завтрашнего дня, там, глубоко внизу, на дне воздушного бассейна шла маленькая женщина по выпуклой земле - еле касаясь ее ступнями, прикрывая рукой худую, недоразвитую грудь. Глаза ее были широко открыты от ужаса, на волосах ее лежала первая изморозь, как, впрочем, и на деревьях, которые гигантской вереницей - уже в невесомости - тоже тянулись в том же направлении. Птица летела долго. Когда пыльные серые крылья ее влетали в полдень, маленькую женщину сильным рывком за волосы заволочло навзничь, глубже вдернуло в поток деревьев,

Зуфар Гареев "Стереоскопические Славяне"

приперло стволами, ветвями, корнями, с которых медленно-медленно опали комья земли - и потащило **туда**, уже всю побелевшую, всю блистающую инеем. Лишь Герман Сысоев увидел этот блеск - он ударил ему в глаза. Герман поднял веки, присыпанные снегом, чуть высвободился из-под матерой клешни Извекова. В это самое мгновение птица бросила безразличный взгляд на двух людей, застывших в схватке посреди бесконечной снежной равнины - и ухо Германа мгновенно стало серым, каменным и древним, как и она сама...

ПОДРАЖАНИЕ ЛЕТУ

Я сразу его заметила, когда в электричку сели, еще в Москве. Красивый такой: короткий ежик, как сейчас модно. Сам светлый, продолговатый, в общем, американистый типаж. Штаны - светлая плащевка, сеточки на карманах; долговязые шиколотки на три четверти выглядят, носки белые...

И меня тоже кто-то может заметить так. Вот, мол, девушка, лет восемнадцать, хмурый ежик на голове, пиджак широкий - в общем, тоже, в струе. Если бы не глаза. Я их знаю - какие они: тяжелые, странные, несытые. Их бы убрать с лица - и ничего, хорошенькая была бы мордашка, без подозрений. Девушка девушкиных лет, безразлично как звать, одна из тысячи. Не убрать. Можно припрятать, полуопустить. Чтобы не разобрали всматривающиеся, не закричали: "А! Вот ты кто!" И тогда выщелкнут: щелк! Тебе здесь не место: здесь весело, легко. Покупаем мороженое, мелькаем вечерами у метро, скользим мимо голубых аквариумов кафе.

Сиюю, вот, значит, и думаю: чей-то. Не может он ничьим быть, все чьи-то.

Действительно, рядом сидит мать, потом девушка какая-то, наверное, старшая сестра, и еще одна женщина - тетка, что ли? Рядом еще ребята, с ними родители - едут, значит, с семьями. В наш профилакторий, наверное, по двухдневным путевкам.

Мать переживает:

- Дима, съешь бутерброд хотя бы...

Копошится в сумках, шуршит полиэтилен. Тетя - женщина солидная, с осанкой крупного чиновника; читает вслух газету:

- В Подмоскowie: двадцать - двадцать два, ветер восточный, с переходом на северный, постепенное понижение температуры... Аня, слышишь?

Диме надоела материнская навязчивость:

Зуфар Гареев "Подражание Лету"

- Отстань!

Она - маленькая, шустренькая как обезьяна, угодливая улыбка не сходит с лица.

- Тогда хоть яблочко? Или вот пирожки от бабы Веры? Специально для тебя положила...

Он мой взгляд поймал, покраснел:

- Отстань, говорю...

У нее полный рот белых искусственных зубов, немислимый огненно-рыжий парик. Маленькие жилистые руки, много золота на пальцах, в ушах.

Я вышла в тамбур. Чувствую, он тоже должен. Точно. Только не один, с толстым очкастым приятелем. Встали напротив: толстяк мнет сигарету, Дима слабо языком карамельку во рту ворочает. Слышу запах апельсина...

- Девушка, наверное, далеко едет? - спрашивает. Небрежно, не то чтобы спрашивая, скорее утверждает с иронией.

Толстяк смутился, ушел. Перед тем как задвинуть дверь, обернулся: рвнует что ли?

- Во Фряново? - я спрашиваю. - В дом отдыха?

Он кисло улыбается:

- Всей шумной родней...

Я пожала плечами:

- Дети любят родителей, родители - детей. На веки вечные...

Помолчали.

- Друзья?

- С Валерой, что ли? Не то чтобы... - пожал плечами.

Я догадалась - стесняется Валеру своего. Говорю тогда насмешливо, проверяю догадку:

- Он, наверное, еще не завтракал. Ему часто хочется кушать...

Дима покраснел, растерялся - не ожидал. Подстраивается под мой насмешливый тон:

- Трудно ему в жизни без котлеточки.

Предал.

- Комплексует, интересно, на свой счет?

- Вряд ли...

Он улыбнулся с нескрываемым удовольствием.

- Ходит за мной по пятам, делает всякие подарочки с какими-то идиотскими приписками. "Нет, я не сентиментален..."

- Пусть он немножко постоит с нами...

- Зачем? - Мое желание кажется ему странным. Но в вагон заглядывает, знак Валере делает.

Тот неуклюже вполз. Я отвернулась. Как будто с Димой никакого разговора не было. Или так: Дима лип со всякими разговорчиками к

Зуфар Гареев "Подражание Лету"

девушке, девушка смущалась, теперь вовсе в окно уткнулась.

Валера дышит тяжело, мнет и мнет сигарету, не решаясь закурить. За окном ползет индустриальный пейзаж: котлованы, трубы, ржавые ручьи. Насмешливая мордашка Димы покачивается над плечом его друга.

- Валера, а теперь иди, - говорит; похлопал его по плечу.

Тот выполз из тамбура.

- Пусть булочку съест...

Еще потрепались немного, тут и Фряново. Я бросилась к телефону. Думаю, сейчас быстренько позвоню бабулечке в Москву: доехала, все нормально, встречаю тебя, как договорились, в понедельник, звонить больше не буду, привет маме. Рассчитываю: успею за ребятами пойти. Бабушкин дом и профилакторий этот самый - в одном направлении. Но - очередь у автоматов. Потом наш телефон долго занят. В общем, не успела, ушли. Думаю: в такую жару все равно первым делом пойдут купаться на речку, все приезжие так делают. Будут идти обратно - увижу.

Вышла из дома. Пошла вниз по улице, к речке - сразу увидела их. Они купаются, им девушки не нужны сейчас. Они с водой обнимаются, с летом, с небом голубым. Кроссовки белые, яркие футболки на траве валяются...

Лето мое! Не впрыгнуть в тебя мне: в кудри твои зеленые не впрыгнуть. Зацеплюсь волосами, мыслями корявыми - и назад одернет! Шею одернет сильным рывком, глаз застынет на лету. Не смей прыгать, сожми зубы крепче, терпи, но прыгать не смей!

Встала у забора. "Жигуль" проехал, на меня пошла пыль рыжая. Расстояние до речки не то, чтобы неприличное, чтобы могли сказать: вон девушка стоит недалеко, не случайно стоит, подглядывает, что ли? Жду, когда они обратно пойдут. Дай пока, думаю, к палатке с квасом схожу, стакан сока выпью, от палатки все равно будет видно, как они легкие футболки накинут и пойдут обратно. Пошла, не оглядываясь, другой "Жигуль" навстречу, в мягких ухабах кувyrкается вместе с ржыми дамами внутри, меня еще покорежило: показалось, что все они в париках, в такую-то дикую жару, когда мозги плавятся. Сока нет, отошла. Киоскер - поленький, в пухлых пальцах - печатки, тускло поблескивают, влажные от кваса - с любопытством на меня посмотрел, краем глаза я уловила. Подумал, наверное: вот, мол, девушка, а хмурая какая. Хмурых девушек, вообще-то, не бывает; они, вообще-то, без нюансов: или плачут, или смеются...

Смотрю, ребята уже вылезли, одеваются. Кто на одной ноге прыгает - воду из ушей вытряхивает, кто уже к кроссовкам наклонился. Возвратилась, снова встала у забора, здесь дорога прогибается в мою сторону.

Зуфар Гареев "Подражание Лету"

Они ленивые такие идут. Нестройная компания, разговора нет общего, случайными фразами, случайными словечками перебрасываются. Дима не то, чтобы в центре, в скучной неприметности. А я радуюсь, нет у меня конкурентов, будет мне какая-то удача. Правда, дружок его полный рядом тащится, тревожно в мою сторону несколько раз посмотрел. Не знаю как встать. Отвернуться к забору - глупая ужимочка, да и не увижу близко Диму. Смотреть прямо - слишком откровенно. Что я - проститутка? дурочка? Полубоком, в полглаза стою. Они не обратили внимания, когда проходили, кроме Валеры, конечно. Мне жалко стало его, неуклюжую эту глубину: ты ведь воздух охраняешь, воздух...

Дима сосет карамельку. Мне кажется - слышу ненавязчивый, прохладный запах цитрусов.

Прошли, недружно засмеялись, и он украдкой обернулся: быстро, через плечо - и отвернулся тут же.

Как это нравится мне! Идешь по улице, навстречу компания, ребята, девушки. Кто-нибудь из ребят, самый непредсказуемый - девушки реже - задержится глазами. Что-то осталось у него в душе от меня, непонятной. Я так себя понимаю: хочу с улицы, случайно, непредсказуемо. Хочу с улицы! Она такая яркая, такая тайная. Она колеблется, движется к метро, растекается к автобусным остановкам: у нее тысячи глаз, тысячи рук, тысячи подавленных желаний, которые никому не вычислить, о которых некому догадываться, кроме меня: они пугливые, летучие.

Вечером снова стою у забора. Профилакторий (или как это называется) хорошо вижу отсюда. Широкий освещенный вход, веранда тоже освещена, на ней столики. Рядом танцплощадка, там все сверкает: красное, желтое, фиолетовое. Может, взбредет ему в голову, решит: дай пройдуся по дороге, где днем эта девушка стояла. Жду - нет, не идет. Сама отправилась к танцплощадке. Они, новенькие, в сторонке стоят, скептически на подмосковные нравы поглядывают. Он меня увидел. Я тут же в тень отошла. Думаю, достаточно. Придумает причину, смоемся от них. Ушла, стою точно в том месте, где днем переглянулись, где дорога нежный изгиб к забору делает. Долго стояла, сомневаться стала. Спрашиваю себя насмешливо: думаешь, жизнь умнее твоей логики? Минут двадцать, наверное, прошло. В отдалении возник он. Подходит: привет, говорит. Привет, я отвечаю, пойдём? Идем по направлению к моему дому. Он спрашивает - вдруг! - куда? Я говорю: ко мне домой. Чувствую, слегка растерялся, хотя, конечно, виду не подаю, запросто так соглашается: идем!

Его раскрепостить как-то надо, нельзя его любить, как любят детей: с умилением, будто в жизни тебя больше потеряло.

Зуфар Гареев "Подражание Лету"

Он спрашивает:

- Тебя как зовут?
- Оксаной меня зовут... Оксана Сороченко.
- Понятно. А я - Дима.
- А я знаю...

И так далее, о том, о сем.

Пришли ко мне. Я спрашиваю:

- Ты, наверное, учишься где-нибудь? В институте?
- Штирлиц в юбке! Может быть, знаешь в каком?
- В хорошем, конечно... Я много еще чего про тебя знаю.

Он помолчал, а потом сдержанно как-то на меня посмотрел. Поняла: с этой минуты он считает меня психопаткой. Разговор сразу перестал клеиться. Чувствую, он замкнулся; даже уйти, наверное, хочет. И глаза у меня, наверное, уже тяжелые, странные, и он разглядел это, и уже теперь точно думает, что мне не восемнадцать моих кровных, а целых тридцать чьих-то, и фонарики на танцплощадке - если появлюсь - спросят вдруг: где ваш билет, женщина, вы без билета прокрались сюда, мы видели! И обернутся все и закричат: вот она! вот она!

Он сел в бабушкино кресло-качалку. Глаза полуприкрыты, хочет показать, что ничего с ним не случилось. Не верю: притворяется, притаился, сейчас как врежет мне по роже, потому что презрение ко мне, к такой гадюке, все эти минуты копилось, и...

- Этому креслу - шестьдесят лет, - дурацкий пошел какой-то разговор, и ничего я не могу уже сделать.

- Отлично, - он отвечает. - Все нормально... - и качается сосредоточенно, и глаза полуприкрыты.

- Ты что, уйти хочешь? - спрашиваю я.

- А ты меня гонишь уже?

- Значит, тебе не противно?

- Да нет, не противно...

Не верю:

- Нет, тебе противно. Только не хочешь признаваться.

- Да не противно нисколько, - он убеждает. - С чего ты взяла?

Я успокоилась было, но что-то гонит меня: противно! противно! И не поцеловать мне его. Оттолкнет: чужие слюни, бр-р-р... Оттолкнуть, побежать в ванную, искупаться, насухо вытереться, надеть чистые плавки, вытянуться в сухой постели и уснуть. Руки поверх одеяла, как пишут в книгах для родителей, о семье и браке. Утром встать, выскользнуть из простыней. Ш-ш, ш-ш-ш, шуршат они, путаются в ногах, тянутся за телом - и опадают, отверженные.

И - на речку! Бродить по гальке - ничей! Только - солнца, воды, неба, прибрежной травы, чисто выполощенной. Ступать, сердито так

поглядывать на меня, соображать как отвязаться.

Я очистила апельсин, половину протянула ему, он ест, подставляя ладонку.

- А карамельку хочешь? - спрашиваю.

Он не улавливает связи:

- Карамельку?

А я - бух на диван - и как зареву!

Поплакала-поплакала, говорю ему, не оборачиваясь, не поднимаясь:

- Иди... Обо мне не думай... Я одна останусь.

Легу на животе, руки под себя поджала, прислушиваюсь. Он копошится, звенит у него в карманах мелочь или ключи, пристегнутые карабинчиком к поясу: блестящие такие, никелированные штучки. Подняла голову: наклонился к кроссовкам, длинные язычки высунул - всё, всё, всё...

- Попить есть чего-нибудь? - спрашивает хрипло. - Горло пересохло...

- Там, на кухне.

Пошла следом. Он свет включил, стоит, щурится.

Попил, говорит:

- Я тебе позвоню. Давай телефон...

Я телефон написала, он записку сунул в карман. Видимо, очень я жалкая была в эту минуту - улыбнулся, хотя вышло у него криво, искусственно:

- Не соскучишься без меня, Штирлиц? Хорошо будешь себя вести?

- Хорошо буду... А ты свой телефон дашь?

Он написал на обрывке газеты. Вдруг в самом деле позвонит: привет, Штирлиц, все было отлично, давай встретимся? Я тогда в нежности коснулась пальцами его ежика, прошептала:

- Позвонишь... Ты, конечно, позвонишь.

- Ну, я пошел, - он отвечает.

- Пойдем, провожу; еще заблудишься...

Говорю, а саму раздирает идиотский смех - кажется, перенервничала. Хохочу, руки откинула, стакан - дзинь со стола. Мимолетно вижу лицо его изумленное. Иду впереди, хохот не могу подавить, пошатываюсь.

На дорогу вышли, он говорит:

- Ты меня дальше не провожай...

- Почему? - спрашиваю.

- Ну, так просто... - он помялся. - Не провожай и всё...

Я пожала плечами:

- Иди...

Переждала, пока он скроется. Пошла к танцплощадке, там все те же фонарики, там поют под Леонтьева: "Над нами памяти туман..."

Зуфар Гареев "Подражание Лету"

Посидела на скамеечке, рядом какой-то парень вьется. Смешной, глаза круглые, очумелые: то спички спросит, то сколько времени, то говорит, что встречал меня где-то...

Вдруг вижу: Дима с Валерой идут к станции. Я невольно за ними: провожу, думаю, незаметно. Они еле успели на электричку - заскочили, двери тут же захлопнулись. Вернулась домой. Думаю - как быстро появилась возможность позвонить. Завтра же позвоню; завтра же увидимся, может быть. Завтра же в Москву!

Утро - чудесное, все в серебристой пыли утопает. Приезжаю на Курский, наглухо закрываюсь в будке, звоню. Сначала занято - ничего же никогда не бывает сразу. Подожду. Интересно, кто у него дома? Отец? Бабушка? "Диму можно?" "А кто его спрашивает, простите?" "Мы вместе учимся в хорошем институте, вы не беспокойтесь, пожалуйста". Снова набираю номер. Занято и занято.

Ему какой-нибудь Сережа или Андрей позвонил. Димыч, привет. А, салют. Ну и так далее: ненавязчиво, неосторожно. Так принято в это лето: полуразговор под сигареточку, позевывая, поживаясь в стоячем воротничке легкой курточки. Ведь ветер переменился, согласно газете, впереди прохладные денечки. Ветер воротничок легкой куртки рвет и рвет. И слова тоже рвет. Разговор улетает вместе с ветром, улетает за город, растворяется в природе, не причиняя ей вреда. Он нежгучий, нетяжелый, потому что в словах чуть-чуть сердца, чуть-чуть мысли, чуть-чуть дыхания. Четвертинка, осьмушечка: с самого краешка губ сорвавшись...

Наконец свободно. "Диму можно?" "Вы ошиблись, отвечают. - Здесь таких нет".

И не было никогда, все-то теперь я поняла. И никогда не будет.

Вышла из автомата, постояла, пошла к бабкам, которые под перроном цветами торгуют. Не знаю даже, с какой целью пошла: захотелось мне, наверное, сирени. Ну да, сирени. Там много всегда цветов, но я как только увидела сирень, сразу поняла, что мне нужна сейчас именно сирень. Подошла к бабке. У нее сирень такая дымчатая, почти что пепельная. Рядом - фонарный столб. Притулилась плечом к нему, пожалела, что сейчас не в белом платье. Мне так захотелось его! Плянуть на все и напялить, честное слово, хотя я белое на себе терпеть не могу, тем более платье. В прошлом году, на выпускной, у нас некоторые девчонки надевали, но с какой-то ржачкой, как бы ради хохмы. Стою, как дурочка, среди вокзальной толкотни и жалею, что не в белом платье. Смотрю на сирень и смотрю. Потом говорю бабке:

- Бабулечка, дорогая, дайте мне малюсенькую, на пятнашку...

- Умная ты какая, - бабка отвечает. - Что ж я тебе, на пятнадцать копеек - ломать буду?

Зуфар Гареев "Подражание Лету"

Стервоза, значит, попалась. Сунула ей пятнадцать копеек, быстро отломила крохотку - и на перрон! А бабка сзади кричит: ну и бесстыжая! прямо хулиганка!

Бросилась к электричке, встала в тамбуре. Когда вагон скрипучий тронулся, прикрепила веточку к волосам. Она маленькая, а все равно прохладу от нее волосы чувствуют. Есть в этой прохладе что-то апельсиновое... Вот почему мне захотелось именно сирени сейчас.

"Девушка, наверное, далеко едет?" Ах ты, узкий, лживый мальчик Дима!

Посмотрела в боковое стекло, руку к волосам подняла. Далеко едет девушка, очень далеко. Накануне она ходила и говорила всем: вы знаете, а я уезжаю. Вот как, удивлялись все. Да-да, говорила девушка, я уезжаю, и уезжаю далеко. И меряла белое платье. Помилуйте, возражали ей, как же можно в наше время уехать далеко-далеко? Можно, отвечала девушка. И меряла белое платье. Как же можно ехать в белом платье, тем более далеко-далеко, недоумевали люди, а многие даже сердились. Именно в белом платье, убеждала всех девушка, только в белом, исключительно в белом - ну как вы не понимаете этого? И тогда многие обиженно поджимали губы.

А девушка всю ночь просидела над своим платьем - сгорбившись, поглядывая в окно. Вот она вздрогнула вдруг - то розовая заря окрасила стекла. И она холодными пальцами стала застегивать пуговицы.

На завтрак она выпила всего лишь стакан холодного прозрачного воздуха с кубиком льда: у окна, высоко запрокинув голову, так что волосы ее длинно упали вниз. По звонкому стеклу стучали ее зубы, от волнения.

Она поставила стакан на подоконник, пошла на вокзал и села в поезд.

Недоверчивые люди пришли проводить ее. Она махала им рукой, а они кричали с перрона и бежали за тронувшимся поездом: где же этот далекий-далекий городок?

Далекий этот городок, кричала девушка, за Уралом, за Тянь-Шанем, за Карпатами и за Альпами. Городок этот совсем маленький: в нем кривые уютные улочки, маленькие дома с красными и зелеными крышами.

А много ли там сирени, кричали люди и бежали по перрону.

Да, там много-много сирени! Она воткнет в волосы маленькую веточку, проходя по улицам. Она будет долго идти по улицам. Ей не будет хотеться ни пить, ни спать, ни есть, ни заботиться о чем-либо вообще. Ведь у нее не будет ни чемодана, ни квартиры. И никто на нее не посмотрит с раздражением, никто не спросит у нее, где она работает и чем вообще занимается в жизни.

- Неужели? - кричали люди. - Неужели так оно и будет? Неужели

Зуфар Гареев "Подражание Лету"

никто ничего не спросит и ничего не прикажет? - ужасались они, и всё бежали по перрону, и качали седовласыми головами. - Ведь это невозможно! Нет, это невозможно! О боже, нет, никогда, никогда...

Они бежали, все тяжелее становилось их дыхание. Они, наконец, стали задыхаться, рвать на себе одежды, стали падать, цепляясь друг за друга слабеющими руками. Они визжали, топча друг друга, они кричали от ужаса, и ничего, ничегошеньки уже не могли поделать в своей жизни, и каждому оставалось только прошептать:

- В добрый путь, дорогая девушка, в добрый путь...

МУЛЬТИПРОЗА

(фрагменты)

- Штабеля ж вы мои, штабелялистые: все из досок вы состоите тяжелялистых! - вскрикнул в Красноярском крае старый опытный бич Голубеев.

Случилось это в середине жаркого мая. Бич Голубеев стоял посреди комбината, под высокими штабелями и щурился солнцу.

"Не пугай тишину!" - висел на штабеле плакат, который Голубеев тут же заметил и стал соображать. Как вдруг, в то же мгновение, толстая доска свалилась сверху, разможила ему череп, на три части.

С обидой Голубеев собрал осколки и пополз под штабель да прилег там. А ему бич Гнусавый сказал из Москвы:

- Голубейка, не балуйся, а жди-пожди меня, скоро вернусь я к вам...

- Ждем да ждем, - буркнул Голубеев и стал засыпать на зелен-траве.

Солнце било ему в глаза. Тогда харкнул Голубеев в него и произнес с миролюбием:

- Так и надо тебе, гадское, адское!

Солнце зашипело, пошло черными кучеряжистыми пятнами, да потухло.

А Гнусавый метнулся под небом, прибежал на Открытое шоссе, язык на плечо закинул и сидит себе на бугре. Глянет налево - там Тагильская улица. Направо - Транзитный проезд. Стал он шуриться солнцу, а солнце шипело-шипело, да и спустило в глаз Гнусавому кипящий ошметок слюны. Гнусавый завопил:

- Что ж ты, Голубейка, плевков мне в глаз сделал сквозь расстояние даже - пес ты гремучий!

А потом как завопит:

- Эх, требуха моя проснулась, кишки пирожков просят: блевосят, поносят!

Плывут мимо Гнусавого транзиты белоснежные, с молоком и мясом, как мечта голубая парят по Открытому шоссе фуры из Болгарии - не берут пищевые лайнеры на борт Гнусавого. Монтировку Гнусавый хватя в зубы, долбанул раза два, простите, в попу финской фуры, ужрался сервелату и выпрыгнул. Побежал за воронежской фурой: сметана там белгородская и творог "девятка" - эх, сожру я полный бидон, а крышку-то выплуну: екнет-цокнет она по полу и затихнет, мертвая, в углу.

Ухряпистым бегом пустился Гнусавый вслед за фурой на Черкизовский молокозавод. Паспортишком перед вахтером махнул, так повернул и эдак, нюхай ты, собака ползучая, гадость вонючая, радость кипучая - так рабочего паспорт пахнет! Пробрался Гнусавый, Таньке-мастерше пузатой подмигнул, в бригаду к алкашам метнулся: здорово, пьянь да срань! К транзитнику подключился, стал бросать фляги из фуры. Дзинь-ля-ля! - поют они песней весенней. Нажрался сметашки Гнусавый, а ботинок нечаянно в бидоне утопил. Творожком потом закусил, стал смотреть где бы пятишку подшакалить, подъгорить ее, синенькую, да пузырек сотворить, похмелок. Смотрит - Вовка-очкарик чегой-то подмигивает бабенке какой-то в подзаборной щели. Хала-бала! Подбег Гнусавый к Вовке: тебе начальство зовет, иди-ка! А сам - к бабенке! Дает банку она: налеп сметаны, пожрать хочется. Налил - рублишко протягивает она Гнусавому. Рублишко унес он в карман, а бабу за руку - хватя! Трешку не дашь, тварь ты голубоокая! - заверещу, мигом народ сбежится, повяжут тебя. Трешку - хватя, пинка ей сунул и утек. Подвалил к Митьке-дурачку: как бы с него рублишко займешь? Митька, говорит Гнусавый, хочешь ли, бабу голую покажу? Взял рублишко, завел того в сортир, говорит: здесь сверли! Он просверлил и видит в дырочке воздух. Извини, Митька, сказал Гнусавый, забыл я, что туалет этот одностенный.

Выскочил Гнусавый за ворота, да как закричит:

- Здравствуй, база овощная!

Подскочил к воротам, паспортишкой ткнул на вахте в рыло бдительности, направился в секцию номер два: здрасьте, Нина Михайловна. Отлучилась та куды-тось, Гнусавый - арбуз: хрум-хрум, и зажрал его целиком, потом дыню зажрал, потом капустки соленой, потом персики, глаз положил на огурчики: но куды-кому продать?

Тут из темноты кто-то нарисовался, под газом - помоги, орет, мешок до забора, трешку с меня поимеешь. Увы, давай наперед пятишку - Гнусавый наперед условие поставил. Поперли они. А вдруг - мент, и забор-то высокий! Субъект: я полезу первый! Гнусавый: я полезу! И смекает - надо одного в жертву! Хлясь тому в зубы, потом коленкой в пузо - хлясь! Тот согнулся, как в цирке, вскочил на него Гнусавый, оттуда - на забор, и испарился.

Зуфар Гареев "Мультипроза"

- Здравствуй, пивнушечка ты моя! - гаркнул он на пороге.

Тут хануря какой-то прицепился: налей, гад; подыхай, сердце мое останавливается: рублишкой ткнул.

Повел его Гнусавый в кусточки, забулькали под плакатом "Красной субботе - отменный труд!" А ханурик этот прочел плакат и давай столб воротить. Кричит: знаешь, где я видел их всех! Кричит Гнусавый: щас нас менты засодействуют, что ж ты, гад, делаешь? А он воротит. Допер Гнусавый: ты что, против Советской власти? Менты пойдут, хватятся: нет плаката - и, точно, загребут.

Сунул ему Гнусавый в рожу и как заорет: мы за кого, змей ты гремучий, воевали, а? кровь проливали, а? А тот, упамший, вцепился Гнусавому в ногу, словно крокодил. Отпихнул его Гнусавый, сопли в ноздри, и - скачками дальше в путь пустился...

Тут канаву какую-то работяги роют. Слабится Гнусавый: закурить не дадите ли, мужички? Бросай лопаты, давай покалякаем, захотелось работать - полежи, и все пройдет, так в народе нашем говорят.

Мужики лопаты в землю повтыкали, а сами в степенную беседу об аквариумах пустились. Радуетса Гнусавый халяве в виде сигареты и примечает у одного гомонка, руку запускает, а мужик - бэм-с! лопатой его по голове, пенделя сунул, да вдобавок раза два в зубы тиснули. Выплюнул кровавый взрыв Гнусавый, взвыл от боли, словно шакал, и помчался дальше, кричит что-то: гмн... нмг... мнг... - плохие, мол, времена настали. Зналса, в бытность свою, Гнусавый с Элеонорой Иннокентьевной Пальмской. Директоршей молокозавода была она. Богатая женщина, а Гнусавый был при ней как бы причиндалом. Говорила она: ты мне нравишься почему-то, Гнусавый, я поближе к народу быть хочу. Нгм... мгн... - мурлычит дырявым носом Гнусавый в ответ. Бывало, и по пять сотен в день она Гнусавому отваливала, чтобы он вести про ее доброту по народу пускал - а по пять-то чириков - уж точно.

Любила она в молоке купаться. Вот вечером завод закроет. (по причине: нету молока, кончилось, где ж на всех вас набраться!), прикажет в чан большой молока налить и - давай нырять, словно лебедь белый. А Гнусавый сопровождает ее: стихи ей читает. А стихов не надо - махнет рукой Гнусавый, велит впустить ансамбль скрипачей или балет: а сама-то - ныряет, да ныряет, как кусок масла: уж такая она была белая и дородная. А один раз говорит она: тело у меня белое, как сало нутряное, так не побрезгуй, Ваня, поцелуй-ка меня, милую, в попочку. Душа моя пресытилась, Ваня, ищет она приятных развлечений; дни летят и нету никаких развлечений. А станешь целовать телевизор мой белый - крикни при этом и воскликни: ура Элеоноре Иннокентьевне!

Отчего же, говорит Гнусавый, вы, Элеонора Иннокентьевна, в объяснение такое длинное и, право, немножко скучное, пустились? За хорошие

деньги мы не только телевизор ваш поцелуем, а и саму пяточку, кругленькую, да красненькую, словно яблочко. И змием перед ней извивается, дескать, не вздумайте передумать, Элеонора Иннокентьевна. Скинула она труснюк и давай купаться. А Гнусавый пока стихи читает или философские беседы о том, о сем громко ведет. А потом изловчился, вlepил поцелуй, крикнул "ура" и тут же пятьсот рублей хапнул. Да еще уловчился - в сумочку руку засунул и чирик унес у нее.

А на следующей неделе еще пятьсот рублей заработал Гнусавый. Захотелось Пальмской вот чего. Хочу, говорит, чтобы все на территории завода головами легли, а я бы по головам прошлась. Все легли, а она пошла на тонких каблучках, и на какой-то голове твист-ча-ча-ча изобразила, отсадила какому-то работяге ухо. Взвыл тот. Ухо поднял в воздух и тычет в него: ухо! ухо! Тут подскочил к нему Гнусавый: хотел пнуть его, чтобы с землей сравнялся. А он: ухо! ухо! Вижу, не глаз, Гнусавый отвечает, много подшакалить хочишь? Чирик кидай мне, орет. Пятишку! - гаркнул Гнусавый. Трешку сунул шантажисту, тот сравнялся с пылью, гад, ухо быстрее в карман спрятал: потом пришьет и получится: трешку на халяву оторвал. Потом Гнусавый Пальмской рассказывает: вы тут придурку одному, Элеонора Иннокентьевна, ухо немножко зацепили - я ему пятьсот рублей за увечье влапил. На, она говорит, Ваня, семьсот рубликов, двести - премия за удовольствие, мне доставленное. А в тот же вечер купаться она стала, упер у ея Гнусавый лиф - и бабе какой-то толкнул за трояк. А та баба бизнес захотела на этом сделать - решила она заложить Гнусавого. Пришла и говорит: причиндал ваш, Элеонора Иннокентьевна, посмотрите, чем занимается, оскорбленье наносит вашей интимности, лифы ворует, грудь вашу простудить хотит - и халяву за это просит, в виде пяти рублей. Но Пальмская отказалась от лифа, тогда баба другую халяву нашла: другой бабе продала, дескать, финское, "Нюннунёэмен". А та ее тут же разоблачила: как же, мол, "Нюннунёэмен", если на нем с обратной стороны "Красная Заря" написано? Что ж, у финнов не бывает, думаешь, красной зари, - заорала баба, - у них заря-то, синяя, что-ли? Ах, мол, ты так и так, - заорала вторая баба, - ты мне обмануть хотела; хватъ ее за волосы, а первая баба ее меж титек - тр-р-рах! У той правая титька лопнула, и умерла она сразу со словами: "Ах, что ж ты со мною сделала?" И бабу эту сразу посадили, и правильно сделали. А потом и Элеонору Иннокентьевну посадили: я на суде был, свидетелем сидел и речи возмущенные говорил: так, мол, и так, товарищи, освободим тело от болячки наносной, пичужь ее, падлу, в тюрьму, терпенья нет больше нашего народного!

- Правильно я выступил? - закричал после такого обширного воспоминания Гнусавый, стоя на Открытом шоссе и потирая пузо.

Зуфар Гареев "Мультипроза"

- Правильно ты выступил, - одобрил бич Голубеев и вскрикнул:
- Эх, шабеля вы мои, штабеля!

И в ту же секунду сорвавшаяся доска разможила ему череп на три части. Обиженно засопев, Голубеев уполз под штабель зализывать рану.

Несытый старик Мосин развел руками, присел и призадумался о жизни своей.

Хорошо раньше старик Мосин жил, ох, хорошо!

Вот живет он в новой квартире, дни свои коротает, об Октябре шумном скучает. Вечерами песню революционную поет, а днем весело костылем постукивает на лестнице, медальками побрякивает - торопится Мосин во двор, в домино сразиться с другими стариками. А по воскресным дням призывает он номенклатурного сына в кожаном плаще к себе в комнату-музей и рассказывает:

- Вон шинелишка моя, а вот кальсоны мои, понимаешь, от времени пожелтевшие. В роковом-пороховом - как пальнул однажды враг на рассвете - ну, мы все в кальсонах и повыскакивали на врага-то посмотреть, да поразмышлять о его негуманном поступке... Вот они, те кальсоны...

А сын жену свою светлолицую, да дебелую, да с глазами навывкате тихо за руку берет, гладит, и вместе они поют тихими голосами песню "Русское поле".

- Эх, и крепкая песня, словно стакан водки, - одобрительно говорит Мосин после долгого молчания и смахивает слезу. - Сильно ж ты в душу мою сложную заглянул...

И тут же внуки обступают Мосина, и про Чебурашку пищат, про Бонифация, про Леопольда, и про другую всякую чепуху, и в ладоши хлопают.

- Одно мы дело делаем, отец, - говорит номенклатурный сын, и упругой ножкой оземь бьет, и румяной щечкой подрыгивает, и в кожаный плащ запахивается, и тысячу рублей в карман кладет.

А старик на кисет указывает и продолжает рассказ:

- А вот кисет тот, который мне тысяча девушек в тылу вышивали...

Номенклатурный сын песню "Давай закурим" поет, тихохонько белолицую дебелую поглаживает, и друг к дружке они головами кудрявыми прислоняются, и по комнате ходят да бродят, словно два голубка; в окна с двенадцатого этажа поглядывают, семечки пощелкивают, в унитаз похаркивают, да глазами моргают. А старик Мосин время от времени на Казанский вокзал бегаёт: кипяточку попросить. И с утра потому он кружками жестяными звякает, чайничком тарахтит, сахар от махорочки отряхивает, да ворон-птице весело подмигивает. И взять в толк не может: отчего это ворон-птица под окном у него часто летает,

зелен-глазом зыркает и тревожно кричит, будто зовет в дальний неведомый край старика...

И ведать он не ведает, а однажды дебелица говорит, номенклатурного сына за ухом почесывая, по бокам пошаривая:

- А убей ты его, дорогой мой суженый, и квартира вся-то нам достанется...

- Да как же я его убью, - восклицает сын. - У него же коллосальный жизненный опыт!

А внучата тут же прыгают, про Чебурашку поют и пищат:

- А убей, и квартира вся наша будет, тиль-ля-ля!

Услышал такие разговоры Мосин и решил бежать.

Сел он назавтра у окна, в последний раз налил кипяточку в кружку, а мимо окна ворон тот самый летит. Заплакал старик и понял все-все он в жизни своей.

- Что ж ты пустой летишь? - вопрошает старик. - Можно ли я к тебе на шею сяду?

- Да уж давай, - ворон говорит. - Неча ерепениться было прежде...

Сел босой старик, обхватил пощипанную шею пернатого и полетел на помойку. Летел он над двором; летел он над столом доминошным, за которым не сидеть ему больше, летел он над вокзалом... И был-то он весь в парах, и много-много кипяточку, стало быть, кипело там, и много людей всяких бежало туда и сюда, позвякивая чайничками. Снова заплакал в связи со всем этим старик, а ворон глазом повел, укорил:

- Чего ж ты плачешь, дурень старый - об ком плачешь?

А старик ворону шею ласкает и говорит:

- Да как же мне не плакать, ворон-птица помоечная, как же мне слез не лить! Вот лечу я с тобой, а ведь нет у меня в кармане ни паспорта, ни книжки пенсионной, ни красной ксивы моей, бесценной, военной...

- А не надо ничего тебе этого, - ворон говорит. - Там заказов не дают, в очередь на телевизор "Рубин" не становятся... - и злорадно засмеялся ворон.

Вздохнул тогда Мосин и согласился с логикой.

И в первую же ночь он повел свою разбойную жизнь. Увидел он мяса шматочек, а рядом тут - кот-котофеич. Усом грозным шевелит, глазом золотым звенит, коготочком в глаз Мосину целится.

Вышел Мосин на бой, словно бы в юность он вернулся.

Ветер ночной ударил над ним, зашуршал над ним бумагами, жалобно завыл, чью-то смерть предчувствуя, а ворон захохотал громогласно над бачками, над контейнерами:

- Чья смерть будет - тому я в глаз помертвелый и вцеплюся!

Зуфар Гареев "Мультипроза"

Клюкну-клюкну, да как закричу: он - Гойя! Он - Гойя!

Так сказал ворон, и сделал шаг вперед старик Мосин, и стал душить кот-котофеича, приговаривая при этом:

- Что ж ты, кот-котофеич, забулдыга и вор: или мышей тебе мало, а? Что ж ты честну человеку в пище отказываешь?

- Чисто мясо есть я хочу: то, что люди едят! - и кот вцепился в ухо Мосину и стал есть, похрустывая хрящом. Однако, вырвался Мосин из зубов, схватил палку и вытянул котофеича по спине. И тут же ворон взвился над трупом его и завопил:

- Он - Гойя, он!

А номенклатурный сын с того дня с дебелицей по улицам рыскают, по подъездам заглядывают, в темны подвалы спускаются, с блохами борясь, идут, зорко всматриваясь. Высоко над головой номенклатурный сын держит в руке комсомольский значок, из груди с корнем вырванный. Словно золото он блестит, словно огонь во все углы полыхает, во все закуточки.

- А убей ты его! - дебелица шепчет. - Пока живой он, он право имеет, вот!

И номенклатурного сына она в щечки розовы целует, за ухом чешет, бока оглаживает, а номенклатурный сын ножкой пузатенькой оземь бьет, зубом клацает.

Вот как старик Мосин на помойке взялся.

Между тем полдень разгорался, становилось душно.

В центре столицы, в одном здании, окна были открыты. Они выходили на узкую кипящую улицу, всю утыканную памятниками. Один из них - Юрий Третьерукий - наклонился, посмотрел в окно каменным глазом и отчего-то погрозил пальцем.

Из открытых окон валили клубы пара, разносивших по улице запахи мяса, лука и водки.

На балкон вышел Петров П.С. и, потирая живот, наливая кровью глаза, завопил:

- Ба, где это я оказался, идиот вонючий?!

Он пошатнулся, вцепился в перила с пузатенькими бомбошками и, свесившись, блеванул вниз. К нему сзади подбежали запаренные члены кворума и стали скручивать ему руки, завязалась борьба.

Кто-то схватил кашне и стал душить Петрова П.С., чтобы временно умертвить и отнести в комнату.

- Временно умертвить меня хотите и отнести в комнату? - догадался Петров. Он разметал людей по сторонам, схватил переходящее красное знамя и, вывернув рот в атакующем крике, ломанулся внутрь. Члены комитета, кворума и красного уголка побежали за ним.

- Войско, выкатывай, давай, на мои глаза! - завопил Петров и

в молодцеватой удали схватил молоденькую повариху и засунул ее в котел с мясом. Повариха закипела, завертелась, сверкая розовыми боками, а Петров закричал:

- Лаврушки вжарь, да вермишельки!

Внизу испуганный какой-то человек сделал знак рукой, грянул туш, и войско из двух солдат пошло маршем под балконом.

- Профком объединенный ПК-333/41 охраняете ли? - закричал Петров.

- Ой ли! - радостно заревели солдаты: шапки - набекрень.

- Местком!

- Ой ли!

- Уголок наш красный да гулкий?!

- Ой ли!

- А что хром на правую ногу?! - закричал Петров, мутным глазом различив непорядок в шаге.

- А левая коротка потому как!

- А что так: бой ли принял какой ты?

- А мать родила. Папанька, когда меня впрыс, клоп ему впился, прервал удовольствие, вот и не хватило левой ноги чуток...

- Да, - протянул раздумчиво Петров, - трудное послевоенное детство...

А в Красноярском крае позалепил изолянт синенькой башку свою старик Голубеев, выполз ново-головастый и закричал посвежевшим голосом:

- Штабеля вы мои, штабеля! Ай ты, небушко надо мной огромное, о-о-о...

Только он так сказал, как толстая доска свалилась ему на голову и разлетелась она вдребезги у Голубеева.

- Что ж деретесь-то вы, штабеля? - заплакал Голубеев. - Что ж не едешь ты, Гнусавый, а? Заждались мы тебя, друзья твои и товарищи...

Встрепенулся тут Гнусавый и крикнул:

- Еду я, Голубейка, еду! Как Чебурашка там, друг мой? Лет пятнадцать не виделись...

- А помрет он в годочке этом... - говорит лирично старик Голубеев. - Перед смертью тебя он свидать хотит...

- Как, уже и подыхать пора? - изумился Гнусавый.

Сел он в поезд и в Красноярский край приехал, на вокзале в Бичегорске гаркнул:

- Здорово, Бичугания ты моя! Приехал помянуть юность мою: здесь, осредя чувашей и тюремщиков, что шлендала!

Пришел он на биржу, а на бирже лето полыхает знойное! Не хватает на бирже кадровых рабочих, иссушается пиломатериал, коробится. Походил по кабинету, поскрипел зубами желтыми да вонючими начальник

Зуфар Гареев "Мультипроза"

Солодовников, и на биржу вышел, смирил гордыню. В небо враждебное посмотрел и сказал проникновенно:

- Выходи, мужчины-мужики, хватит по дырам прятаться от милиции и от властей, хватит силушку хоронить удалую да русскую - выходи, настоящие мушкетеры, поработать бы надо! План горит у меня государствен-ный: не хотят в инстанциях план скостить! А за экспортный пиломатериал на рынке международном золотом сверкающим плачено! А за неустойку опять же золотом платить надо будет, что в двадцатые годы еще добыто-взято из кинофильма "Пропавшая экспедиция"!

Вот что мы решили с директором коллегиально: эх, и нынче платить по полуторным расценкам - выходи, мужчины-мужики, поработаем на славу, а осенью, с деньгами большими, ух - гульнем!

Так говорил начальник Солодовников, и выползал из-под штабелей бич Костя Перегудин. А опытный бич Голубеев тоже выползал, прихватив дребезжащую башку изолентой синенькой. И шипел он:

- А что я говорил-поговаривал?! Не может государство без бичей - так какого хрена выпендривается оно?!

Сказал почтительно начальник Солодовников:

- Прав ты, Голубеев, ох как прав, хоть правота эта мне все равно, что ножом по горлу - вот! Ведь в преддверьи коммунизма, кажется, вершатся жизни наши, и никак не могу я в голове своей гениальной допустить это: большая диалектическая гибкость требуется голове моей, чтобы локально вопрос этот рассмотреть...

Покрутил круглой головой своей бич Костя Перегудин, поворачал круглыми глазами - очень ему понравились мягкие, гибкие речи Солодовникова.

А Солодовников продолжал:

- Давай забудем прежние обиды, Голубеев: на тебе руку мою, что колбаской финской припахивает, да вся волосом рыжим под солнцем брызжет, да конопушками цветет, да угряшками гнойными шершавится! Поцелуй-ка ты ее, изгибаясь-извиваясь, угряшки прокуси-ай-си, пусть гной кровавый тебе в зубы прыснет - на тебе, мучай, мучай губами ее! Не только полуторные расценки я вам обещаю - а каждый месяц обещаю магарычу поставлять: ящик - на рыло, вот!

- Добре! - сказал Голубеев. - Это нравится мне.

И Костя Перегудин головой круглой положительно покачал.

Сказал Голубеев:

- Эй, выходи, товарищи! Хватилося начальство рук наших заско-рузлых! С низким поклоном прибыло! Выходи, товарищи, хватит пьянство-вать, хватит спать - давайте-ка поработаем, товарищи, дружно! Слышите?

- Слышим! - отвечало изо всех щелей необъятной биржи.

- Слышим! - И выползали бичи, и ковыляли к Голубееву. А кто идти

не мог - тех несли товарищи. А кто вдребадан был - тех волокли товарищи, пробуждая их, да похмеляя.

- Низкий поклон вам, товарищи! - говорил начальник Солодовников.

- От заводского комитета, и от меня лично!

- Э, знаем! - закричали бичи; а кто крикнуть не мог - булькнул горлом; а кто булькнуть не мог - отрыжкой ударил по воздуху. - Если поклон - значит, горит Погрузка! Больше не говори всяких слов, бюрократ Митька, не надо, о!

- Так за работу тогда! - вскричал Солодовников.

- За работу! - вскричали бичи.

- За работу! - гаркнуло небо.

- За работу! - зашипело солнце.

И полетели пакеты один за другим! Из речных - в плотные! - на причал! - на баржу! - да в хитрую Данию! - да в гнусную Англию! - по всему свету! - вот!

И так - все лето!

И Гнусавый, и лучший друг его Чебурашка здесь же были.

Наступила осень, однако. Полетели белые мухи, по кочегаркам стали бичи расползаться, по люкам, а другие на юг стали уезжать.

Запил Чебурашка, глаза у него стали гноиться - так одеколон "Гвоздика" на организм действует.

Вот сидят они с Гнусавым в дальней курилке, куда ни рабочие, ни начальство не ходят, откуда совсем близко до забора, за которым поселок Черемушки, в котором магазины: как вино-водочные, куда Чебурашка с Гнусавым давненько не заглядывали, так и хозяйственный, в котором они - частые гости, и в котором всяких жидкостей много, вроде голубого-голубейшего стеклоочистителя.

Вот сидят, и Чебурашка руками опухшими и задубелыми фунфырек разливаег. Разливает, а Гнусавый думает: на последнем кругу Чебурашка, не жилец больше Чебурашка. Потому как глаза у Чебурашки уже загнивают, волосы сыплются - умрет Чебурашка...

И умер Чебурашка.

Однажды пропал. Три дня нет его нигде. Пошел Гнусавый в поселок Черемушки и за кочегаркой больничной, в сарайчике каком-то дощатом, обнаружил друга своего. Снегом уже наполовину был заметенный Чебурашка. На спине лежал Чебурашка, носом красным вверх. Синицы глаза его клевали и чирикали-кирикали:

- Он - Гойя! Он - Гойя!

Захоронил, зарыл тут же, в сарае, Гнусавый Чебурашку и стал думать: и мне подыхать пора.

А по весне новой у Гнусавого в груди что-то спираться стало, заплакал он от тоски по Чебурашке и понял: то смерть его пришла.

Зуфар Гареев "Мультипроза"

Приполз он на биржу и крикнул, всем существом пытаясь взлететь высоко из дырявого носа:

- Эй, ребята-товарищи, Яшка-Гнусавый подышать приполз! Нешто как пся проклятая помрет душа его?! Нешто некому будет сопроводить глазами ее, когда она полетит Чебурашку догонять? Нешто глаз ваших не увижу в час предсмертный?! А, друзья-товарищи?! Ну-ка, крикну всех по именам, дайте ответ мне вы! Где: Митька Туруханов, бич тертый, словно калач! Где Бубняк славный? Не придавило ли грузом каким, не пустил ли кишки он, непотребным низким образом, грузом придавленный? А Чемпион где славный, добрый бич, что ведро водки зараз мог выпить? Да блевануть тут же веером! Да упасть камнем с высоты головы оземь! А Голубеев где мудрый? А Дипломат? А где Коська Перегудин? Где же вы, товарищи?! Зовет вас Гнусавый на пустом берегу, час пришел ему подышать, придите!

Только крикнул он, как затрещала, зааукала, закричала весело биржа, взлохматилась, и явились все те, кто поименован был. И больше явилось! И те, кто поименован не был - тоже явились! И того больше: и другие друзья-товарищи явились, про которых Яшка-Гнусавый и не помнил уж! И крикнули все:

- Туточки все мы! Будь спок, Яшка-Гнусавый! Не допустим помереть тебе как псе проклятому! Вот-ко подхватим мы тебя в рук наших хор дружный, а?!

Крикнул тогда Гнусавый, от любви и слез задыхаясь:

- Дозвольте, товарищи, слово предсмертное сказать. Не только за себя сказать, за Чебурашку тоже сказать!

И крикнули товарищи:

- Говори, Яшка, слово предсмертное!

И по цепи прошло:

- Растопыривай уши пошире, товарищи! Яшка слово будет говорить! Слушай яшкино слово все - спички засунь, ребята, в уши: серу повыковыривайте!

И сказал тогда Гнусавый:

- А хорошо я пожил, братцы!

И подумали бичи, почесали головы и ответили:

- А хорошо ты пожил, братец!

В долине праздника бытия лежал Гнусавый. На холме праздника лежал Гнусавый. Зеленая долина праздника жизни сверкала перед ним! Широко шумели в ней дубравы бесконечных дней, полных смысла и гармонии. Ласковая трава любви шелестела в этих долинах, и сверкала на траве роса счастья и согласия с самим собой и с богом. Не смолкай, долина! Шуми, шуми, праздник! Смотрел в долину Гнусавый, и слезы чистые текли из его глаз и омывали зеленые знамена лесов, голубые

знамена небес. Смотрел в долину Гнусавый, а черный огонь забвенья уж всюю пылал по краям ее!

И задышаться стал Гнусавый, и крикнул:

- Поднимите меня, братцы, выше! К солнцу! К небу! Жалко мне с жизнью расставаться!

И подняли тогда бичи Гнусавого выше, и закричал он, будто вся сила вдохновенья в нем в этот час проснулась.

- Эй, товарищи, - закричал Гнусавый, - руки ваши заботливые, глаза ваши не-злые уж не увидят мне больше! Дух я сейчас испущу, товарищи! Не больно мне умирать, товарищи, потому что не кляню и не хаяю я жизнь свою, дорогие товарищи! Выпил до дна ее чашу терпкую и спасибо говорю, и по-русски крикаю!

И речь свою продолжал он вот в каких словах:

- Спасибо, что подняли меня, товарищи! Посмотрю в последний раз в даль солнечную, эх, вздохну в последний раз полны легкие воздуху золотистого и вновь опьянею...

И вот что наказываю вам, товарищи!

Как умру, езжайте в Ростовскую область, в деревеньку Чернушки, Сталинско-Ленинского сельсовета - да и найдите там дом Федулкиной, Екатерины Прокофьевны. Нарядный и большой это дом, дорогие товарищи, утопает он весь в грушах и яблоках! Поклонитесь от меня отчему дому, товарищи, а людям, что на высоко крылечко выйдут, скажите:

"Здесь ли жила Екатерина Федулкина, у которой был сын единственный, Яшка-Гнусавый, что утек однажды в детстве, в далекий путь шалманый, и не возвращался более?"

И ответят вам люди:

"Здесь жила она".

И так вы скажите:

"Здесь ли жил белокрысыый мальчик Яшка, что с петухами дрался и с нутьками водился, а, порой, и в будках у них ночевал?"

И ответят вам:

"Здесь жил Яшка..."

И поклонитесь тогда людям добрым, и в сад ступайте, пусть вам вынесут водочки-закусочки. Эх, попируйте, товарищи! Во славу мою!

А потом в чашки-плошки - наплюйте. Со стола-то их попинайте. Вместе с ними наземь упадите, руки пьяны-сраны разбросайте - да и усните!

А как мухи в рот полезут - пусть люди в доме метнутся: закричат, застучат, запищат!

Пусть палки в руки возьмут, да в садочек к вам пусть побегут! Да и как начнут шуровать палками-скалками: мух этих во рту выковыривать, песни тянуть, да руки отряхивать, вот!

Зуфар Гареев "Мультипроза"

Так сказал Гнусавый, а долина уж вовсю черным огнем пылала, уж пламя забвенья к Гнусавому близилось, уж ноги лизало! Задышаться стал Гнусавый в чаду-копоти, и закричал он последние такие слова:

- А потом на могилку матушки моей придите и так скажите:

"Здравствуй, Екатерина Прокофьевна! Вот и Яшку беспутного земля приняла: теперь вместе спать вы будете вечным сном".

На колени вы встаньте, товарищи, да и поцелуйте оградку. Поцелуйте - потому что нет у человека ничего превыше матери, потому что никто не любит так сильно человека, как мать его любит...

И еще о том, о сем хотел крикнуть Гнусавый из носа своего дырявого, как вспыхнул весь сильно, ибо черный огонь забвения уж охватил его всего. Пыхнул он, и даже на бичей-товарищай попало то пламя: опалило оно слегка волосы их, ресницы их, Пыхнул Гнусавый и сгорел. Куча костей вдруг оказалась перед бичами - черви лизали эти кости, и запах страшно удушливый поднимался от них, смердь подымалась.

Закричали бичи, шарахнулись и побежали в ужасе от оскверненного места...

* * *

ЛЮДИ НА ОСТРОВЕ

"...корабль их Целой почти половиною на берег вспрынул - так быстро Мчался он, веслами сильных гребцов понуждаемый к бегу. Стал неподвижно у брега могучий корабль".

("Одиссея", XIII, 113-116)

Молодой предприимчивый Паринмахер во время морской прогулки обнаруживает необитаемый остров, а на нем заброшенный дом, еще довольно крепкий, чтобы служить жильем человеку. Его осеняет идея: почему бы не устроить здесь что-то вроде пансионата, где за умеренную плату могли бы отдыхать задерганные городской жизнью люди? Вскоре находятся желающие участвовать в эксперименте. Первый среди них - Писатель. Он немногословен, носит свитер грубой вязки, курит трубку и испытывает чувство вины за смерть молодой жены. Компанию ему решила составить Мадам, замученная бытовыми неурядицами и злобной враждебностью дочери, считающей мать причиной всех своих несчастий. Мадам любит поесть, посудачить и не очень внимательна к своей внешности, хотя ей еще нет сорока пяти. Именно она дает прозвище Статист следующему участнику эксперимента - мелкому чиновнику статистического ведомства, который предпринимает это путешествие только ради сына - семнадцатилетнего немого, трогательно-беспомощного Нарцисса. Статист - желчный, занудный человечек в дешевой шляпе, тщательно отглаженном плаще, слегка потрескавшихся лакированных ботинках и синтетических носках. Если угостят, закурит, да и от рюмочки не откажется. Наконец, последняя участница - Девица, юная, легкомысленная, чуточку взбалмошная, пытающаяся казаться интеллектуально-ироничной. Старательно скрывает свою веру в неиссякающую человеческую доброту. Рекомендуются начинающей киноактрисой, хотя на самом деле работает официанткой в третьеразрядном ресторанчике.

В одно прекрасное (туманное и дождливое) утро Паринмахер переправляет их на остров.

На острове их ждет живописный двухэтажный дом, сложенный из дикого камня и бревен. Огромный камин, три широких кровати внизу и две наверху, кухня с очагом и кособокой плитой, дощатая будка туалета за домом - все это производит благоприятное впечатление на наших робинзонов.

Сложив вещи в доме, они возвращаются за продуктами, оставленными в лодке. И тут-то их ждет сюрприз: лодку унесло сильным прибрежным

Врий Буйда "Люди На Острове"

течением (ураганом, тайфуном, смерчем). Парикмахер в ярости и отчаянии: его предприятие на грани краха. Статист брюзжит по поводу безответственных людей, готовых в погоне за наживой пренебречь элементарными требованиями техники безопасности. Он настаивает на возвращении залога. Парикмахер швыряет ему купюры в лицо. Мадам требует, чтобы ее немедленно - "слышите, не-мед-лен-но!" - отвезли домой. Писатель хмуро помалкивает. Лишь Девица в восторге.

- Да это настоящее приключение! - восклицает она. - И чего вы переполошились? Напрасно надеетесь, что нам дадут здесь загнуться. Не пройдет и двух дней, как сюда кто-нибудь заявится, чтобы выяснить, кто мы такие, по какому праву и так далее... Блевота!

- Сюда уже десять лет никто не заглядывал, - цедит сквозь зубы Парикмахер.

Как бы там ни было, надо налаживать жизнь на острове. Робинзоны тотчас сталкиваются с непредвиденным. Во время сбора хвороста для очага они подвергаются нападению огромной одичавшей собаки. Кто знает, а вдруг она бешеная? И вдруг она не одна? Это опасно. Люди решают опасности противопоставить сплоченность и дисциплину. С этой целью они избирают "диктатора" - Парикмахера, который призван предупредить разброд и шатания. Все это как бы игра. Но когда в "тронной речи" Парикмахер с избытком воодушевления требует безоговорочного подчинения, и при этом полушутя-полусерьезно, поигрывая ножом, угрожает вырезать у Статиста "орган строптивости", становится ясно, как далеко может зайти такая игра. Писатель, Статист и Девица составляют пассивную оппозицию "диктатору", тогда как Мадам искренне радуется тому, что все наконец-то обрели "сильную руку".

- Осталось как-то поделить пять кроватей между шестью отдыхающими. Отвергнутый Девицей, Парикмахер проводит ночь с Мадам.

Путешественникам предстоит решить две задачи: добыть пропитание и каким-то образом дать знать внешнему миру о своем бедственном положении. Они раскладывают на возвышенностях костры и отправляются на поиски пищи. Вскоре они находят птичьи гнездовья - это спасает их от голодной смерти.

Возвращаясь кружным путем, они натываются на крохотную избушку, возле которой на перекладине висит корабельная рында. Статист, которому надоели непрекращающиеся злобно-иронические нападки Парикмахера на Нарцисса, решает перебраться сюда. Оставшись один, он тщательно обследует избушку и случайно обнаруживает тайник: в нем карабин и несколько банок мясных консервов.

Поздно вечером, когда Статист с сыном укладываются спать, в избушку перебираются Писатель и Девица.

Юрий Буйда "Люди На Острове"

Наутро, после жаркого спора, мужчины решают выяснить, что же это за собака на острове и нельзя ли как-нибудь избавиться от опасности. Писатель и Статист, вверив Нарцисса попечению Девуцы, отправляются в путь. По дороге Статист рассказывает Писателю о своем партизанском прошлом.

Тем временем Парикмахер и Мадам, потерпев неудачу в поисках пищи, заглядывают к "отщепенцам". Пустые банки из-под мясных консервов приводят их в ярость. Парикмахер и Мадам обвиняют Девуцу и ее товарищей в отсутствии элементарной порядочности. Голод и раздражение заставляют их говорить много лишнего и, пожалуй, несправедливого. Напуганный ссорой Нарцисс зачем-то бросается к колоколу. Тревожный звон рынды еще сильнее раздражает "диктатора". Он набрасывается на мальчика, стремясь оттолкнуть его от перекладины, стоящей на краю обрыва. Одно резкое движение - и Нарцисс падает вниз, на камни. Он мертв. Растерянный, ополумевший от страха Парикмахер...

Дописав до этого места, я вдруг понял, что дальнейшая работа попросту лишена смысла: более или менее подготовленному читателю, быть может, интереснее самому придумать несколько вариантов развязки, и все варианты, как мне кажется, имеют примерно одинаковое право на существование. Они лишь пополняют список, о котором я скажу ниже.

Не исключено, что свою книгу об искусстве XX века будущий исследователь назовет "Люди на острове". В предисловии он, видимо, отметит завораживающее влияние этой темы на большинство художников эпохи. Обратившись к их предшественникам, он, несомненно, обнаружит немало имен, достойных хотя бы простого упоминания (например, Паскаля, который сравнивал нашу жизнь с судьбой потерпевших кораблекрушение, выброшенных на необитаемый остров), но уж никак не обойдется без Себастьяна Бранта с его "Кораблем дураков" (1494 г.), без Даниэля Дефо - автора "Робинзона Крузо" (1719 г.) и Джонатана Свифта - создателя "Путешествия Гулливера" (1726 г.). Но, вероятно, не преминет заметить, что, пожалуй, первым произведением, в котором сознательно изображен мир в образе корабля (движущегося острова), а его экипаж - в роли представителей человечества, был "Моби Дик" (1851 г.) Германа Мелвилла. Впрочем, как важнейшая метафора духовного состояния уже XX века, эта тема будет осознана лишь в 1924 году, с выходом в свет романа Томаса Манна "Волшебная гора", после которого только ленивый не отправлял своих героев на остров, в санаторий, больницу, тюрьму или уединенный монастырь... На плоту Медузы стало многолюдно.

В этом списке, на мой взгляд, могли бы оказаться: "Повелитель мух" У.Голдинга, "Америка" Кафки, "Санаторий "Арктур" Федина, "Флигель

Юрий Буйда "Люди На Острове"

упокоения" и "Улей" Хосе Селы, "Чума" Камю, "Корабль дураков" Портер, "Выигрыши" Кортасара, "Город и псы" Варгаса Льосы, "Улисс" Джойса, "А корабль плывет" Феллини, "Вот кто-то пролетел над гнездом кукушки" Формана, "Ангел-истребитель" Бунюэля, "До-дес-ка-ден" Курошавы, а также некоторые произведения Хемингуэя, Гессе, Фолкнера, Уайта, Антониони, Бергмана, и т.д. и т.п....

Список, разумеется, далек от полноты: я назвал лишь те книги и фильмы, что первыми пришли на ум. Кроме того, ни слова не сказано о театральной драматургии - из боязни, что список просто утратит обзорность.

Видимо, несколько строк будут посвящены "людям-на-острове" в детективах, при этом соображение о сугубой технологичности приема станет решающим для перевода этой специфической области искусства на периферию проблемы.

Отметив небывалое усложнение жизни и стремление науки и искусства найти средство для упорядочения если не мира, то хотя бы наших представлений о нем, исследователь, в связи с этим, должен указать на возросшее значение моделирования как сравнительно нового и на определенном этапе плодотворного метода познания действительности, обратив при этом внимание на такой вариант этого метода, как миф, занявший важное место в культуре XX века. Послать людей на "остров", изолировать их от всего многообразия действительных и ирреальных, подчас мистифицированных связей - прием, сознательно эксплуатирующий условность, если не искусственность, прием характерный, впрочем, для того процесса, который привел к возрождению в искусстве (и, в какой-то мере, в науке) игрового начала. Прием, как бы вырастающий из психологии людей, для которых прошлое - далекий берег позади, а другой берег - будущее - мерещится охваченным термоядерным пламенем. Психология людей на "историческом острове".

Глава или параграф исследования будут, видимо, посвящены принципу случайности, который активно используется при разработке темы "люди-на-острове". Историк, конечно, заметит, что эта случайность - по контрасту - служит лишь выявлению неслучайности характеров, связей и коллизий: даже на необитаемом острове люди продолжают решать проблемы, порожденные жизнью-до-острова. Однако, процесс решения этих проблем в лабораторно-экстремальной, "пограничной" ситуации протекает как бы при повышенной температуре, резко, быстро, обнаженно, тем более, что нередко жизнь-до-острова и жизнь-на-острове соотносятся как неподлинная и подлинная. (Займствованием терминологии из полузабытого экзистенциализма я только хочу напомнить, что это учение настойчивее других разрабатывало эту тему - увы, с точки зрения людей-на-острове.)

Юрий Буйда "Люди На Острове"

Закономерно, что ни один художник не рискнул изобразить жизнь на острове как новую Утопию - зато т.н. "антиутопий" создано сколько угодно. Дабы исключить всякие сомнения на этот счет, писатели и кинематографисты почти всегда вводят в ситуацию элемент опасности: людям на острове угрожают "оно", "некто", чума, туберкулез, грипп, крысы и т.п. Угроза в одних случаях - материальная, в других - нематериальная, но всегда - реальная. Причем угроза - атрибут модели, более того, без опасности модель безжизненна: "страх", "насилие", "болезнь" - ключевые понятия современной науки, описывающие социальные процессы и состояния личности в обществе. Личности одинокой, одномерной, отчужденной.

В апреле 1336 года Петрарка совершил восхождение на Ветреную гору (Мон-Ванту) близ Авиньона, после чего написал: "Кроме души, нет ничего достойного удивления... в сравнении с ее величием ничто не является великим". Это одна из первых в европейской культуре деклараций эмансипации личности, одна из первых апологий Острова. Интересен, важен, ценен не Континент, даже не Архипелаг, но Остров. Не Пантеон - но Церковь. Не Аноним - но Автор. Не Люди - но Человек. Не Один - но Единственный. Это были новые ценности, содержание которых, разумеется, не оставалось неизменным. Полтысячелетия искусство открывало, изучало, возвышало Человека. Он, Единственный, стал мерой всех вещей (эта мысль Протагора откликнулась в Римской речи Пико дела Мирандолы (1487 г.), где он говорит о человеке: "Я поставил тебя в центр мира..."); Его душа - неисчерпаемая сокровищница; Его свобода - безусловное благо; владение психологизмом стало мерилом мастерства художника. Границы Острова предельно сузились - то есть раздвинулись до границ Космоса (тут, видимо, уместно вспомнить, что идею "человек - космос" развивали еще досократики, Григорий Теолог, мистики). В XIX веке этот процесс достиг кульминации в творчестве Достоевского, и именно он пророчески указал на обратную сторону такой эмансипации: одиночество, своеволие, отчуждение (впрочем, у него был предшественник, написавший "Ричарда III", "Макбета", "Кориолана"). Последующее развитие европейской культуры свидетельствует о кризисе традиционного гуманизма, ядро которого - индивидуализм, антропоцентризм. Ницше, Бергсон, Пруст, Джойс, Кафка довели до логического конца процесс, истоки которого - в евангелиях, "Исповеди" Августина и "Канцоньере" Петрарки. Однако, в творчестве последователей гуманистическая идея первопроходцев лишилась апологетической окраски. Последний удар нанес фашизм - гнилой плод этого индивидуализма, антропоцентризма. Бог умер; люди на острове оказались бессильны перед Сверхчеловеком; Единственный стал Одиноким, испытывающим

Прии Буйда "Люди На Острове"

страх перед свободой; человек - легко заменяемая деталь машины; вещь - мера людей ("Я есть то, что у меня есть", - так безжалостно сформулировал эту идею Э.Фромм).

Итак, наш исследователь констатирует конец эпохи индивидуализма, соотносимый с эпохой христианского антропоцентризма и психологизма в искусстве, завершение которой символизировано грандиозной метафорой "люди-на-острове". Мы стоим на пороге нового этапа культуры, для которого ценность отдельной личности и ценность психологизма - аксиомы, и отменить или забыть их уже попросту невозможно; гуманизм не умер: он мучительно обретает новые качества (и одно из его проявлений - реалистическая эсхатология). Мы оплакиваем гибель одного из последних островов эпохи - Макондо. Мелвиллов "Пекод" возвращается в порт - но это уже кортасаров "Малькольм", и мы с надеждой всматриваемся в лица пассажиров этого корабля, на котором затеплилась возможность воссоединения - быть может, последняя возможность спасти крохотный Остров с многомиллиардным населением...

ТРЕТИЙ

Любовь? Вряд ли. Нет, конечно. Да какая ж это любовь, скажите на милость? Страсть... ну, это еще может быть: одержимость. Черт с ней, и ладно. Впрочем, все равно не знаю и не скажу определенно, что же это такое, эти "Египетские ночи" пушкинские, не проза, нет, в ней Пушкина не так уж и много - но стихи, та самая псевдоитальянская псевдоимпровизация: "Чертог сиял. Гремели хором..." Совру, если возьмусь утверждать, будто принял это стихотворение, эту пьесу сразу и раз и навсегда - ничуть. Прочел-то впервые в школе, следовательно, ни понять, ни полюбить не мог, и даже, кажется, остался совершенно равнодушен, так что и не запомнил ни строчки. Ну - сиял, ну - чертог. Представлялся какой-то огромный зал вроде театрального, люди в бархатных креслах, в шитых золотом мундирах, слепые гипсы на стенах, люстра на цепях... Возникло и пропало. Через несколько лет вновь возникло - не чертог, наплевать бы на него - я стал читать эту пьесу под воздействием Достоевского, сгустившего до чрезвычайности образ Клеопатры в образы своих грушенек. И опять, казалось, речь шла вовсе не о любви, а о какой-то совершенно безумной, сумасшедшей страсти, губительной и небывало огромной, как бы объемлющей разом ад и рай:

"Скажите: кто меж вами купит
Ценою жизни ночь мою?"

Орий Буйда "Третий"

Какая же это любовь? Это нечто за пределами, над людьми, тут нужно быть богом с его непостижимой объективностью, воистину - Творцом, среди творений которого равноприемлемы жизнь и смерть. А мы? А я? Ценою жизни... Что ж это за женщина должна быть, о боже, что за обещанная ночь, что за ласки - и, наконец, что за люди, согласные под топор наутро, после этой самой ночи? Не бывает. Да, это, признаться, и было первое мое душевное движение: не бывает. Движение вовсе не литературное, не эстетическое, а просто - от жизни, от той силы, которая жила в семнадцатилетнем юноше. За любовь - смерть? Да ни за что бы то ни было! Конечно, эгоизм юности, свято верующей в свое бессмертие. Смерть? Мне - умереть? Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда, аминь. Ведь дело даже не в том, что я не увижу больше какого-нибудь солнца или еще более глупого неба, моих родных и близких или... чего там еще напридумывали писатели - нет! Меня не будет, а все остальное - будет? Нет, нет же! Не будет натертой ботинком пятки? Не будет сохранившихся только в моей памяти ночей над Стивенсоном? Влажного холода первого поцелуя? Моей дрожи при первых строках лермонтовского "Бородино"? Моей, понимаете? Моя смерть - это все-смерть. Коллапс Вселенной. Это хуже любой, самой жуткой войны. Это же: ни сердца моего не будет, ни живота, ни рук, которые мне так нравятся, ни этого самого удовольствия от созерцания (тайного, разумеется) своих рук... да что! Ни прошлого, ни будущего, потому что прошлое и будущее существуют, пока существую я. Детский идеализм? Конечно же! Но и к черту! Ведь проще простого с устало-умудренным видом болтать про метаморфозы, про "все уходит", про "вечную жизнь в потомстве", в деяниях - мне-то что до этого, когда меня не будет?! Дудки! Наверное, такие чувствования и толкают людей к религии, к вере, к поэзии, а не к лопуху на земляном холмике, и пусть лопух - правда, что ж, но мне-то что от этой правды? Незрелость, конечно; понятно, через тридцать лет, когда пройдет этот самый сивка через эти самые горки - все будет по-иному, но эти тридцать лет еще прожить надо. И что: отдать - за ночь? Какова царица! Это ведь действительно никакая не египтянка, а русская Настасья Филипповна, Грушенька. Дрожь захватывает:

"Рекла - и ужас всех объемлет,
И страстью вздрогнули сердца..."

Ужас и страсть. Желание и отвращение. Или это тот ужас, что охватывает верующих, когда им явлено божество? Священный ужас. Ведь речь-то - о жертве, о служении богам. Жертвоприношение как попытка соединения с непостижимо высокой, божественной гармонией,

Прий Буйда "Третий"

вещающей слезы и радость, примиряющей палача и жертву, непримиримую жестокость и беспредельное благоволение, Диониса-Дита с его двойным топором...

Ну да, что ж, трое смельчаков уже выступили из ошеломленной толпы:

"Свершилось: куплены три ночи,
И ложе смерти их зовет".

Близость смерти к любви продемонстрирована предельно ясно и даже сухо, как в каком-нибудь газетном отчете. Достоевский говорил, что философия есть высший градус поэзии. Пушкин демонстрирует в двух строках: поэзия и философия - суть одно.

"И первый - Флавий, воин смелый,
В дружинах римских поседель;
Снести не мог он от жены
Высокомерного презренья;
Он принял вызов наслажденья,
Как принимал во дни войны
Он вызов дерзкого сраженья".

Образ банальный (что подчеркивается и набором банальных эпитетов), ясный, психологически заверченный. Скорее даже символ, не отличимый от других, таких же, не имеющих индивидуальной тайны. Молодая жена (ровня тут никак не укладывается), презрение к вышедшему в тираж солдату, вряд ли утонченному, вряд ли знатному, вряд ли умному - ну, разве что не бедному, только и всего. Надоело ему лаяться с капризной бабой, сносить ее шипенье и шпынянье, ее придирки и нытье, надоели кряхтенье и пьяненькие слезливые воспоминания старых товарищей, надоело тратить золото бытия на медь быта - а, была не была, пан или пропал, то есть, конечно, сначала - пан, а уже потом - пропал, но ведь... за ночь с Клеопатрой, с царицей: стать властителем этого тела, триумфатором...

А второй?

"За ним Критон, младой мудрец,
Рожденный в рощах Эпикура,
Критон, поклонник и певец
Харит, Киприды и Амура..."

Эпикурец. Но не в гегелевском понимании, оказавшем такое влияние на восприятие Эпикура обыденным сознанием. Не жуир, не бонвиван и т.п. Но - философ, призывающий к мужеству, к бесстрашию

Фрий Буйда "Третий"

перед лицом смерти и жестоких богов, тот, кто писал Идоменею: "В этот счастливый и вместе с тем последний день моей жизни я пишу вам следующее. Страдания при мочеиспускании и кровавый понос идут своим чередом, не оставляя своей чрезмерной силы. Но всему этому противоборствует душевная радость при воспоминании бывших у нас рассуждений". Хариты, Киприда и Амур рядышком (не по воле Пушкина, разумеется) со страданиями при мочеиспускании и кровавым поносом. В 1835 году Пушкин уже мог допустить подобное соседство (хотя стихотворная часть "Ночей" и писалась с 1824 года). Гегелевский эпикурец не встанет под пистолет на Черной речке. Понятно: домыслы. Но поклонник и певец Харит, Киприды и Амура готов взойти на ложе смерти. Он, а не автор "Капитанской дочки" и "Горюхина".

Наконец, третий...

"Любезный сердцу и очам,
Как вешний цвет едва развитый,
Последний имени векам
Не передал. Его ланиты
Пух первый нежно оттенял;
Восторг в очах его сиял;
Страстей неопытная сила
Кипела в сердце молодом..."

(Боже! боже! "Кипела в сердце молодом"! Это, конечно, не тридцатилетний Пушкин - это итальянец, жалкий импровизатор.) Кто же он, третий? Пух первый - это ведь еще мальчик. И - готов к смерти, к губельному служению мощной Киприде (великслепный эпитет, оправдывающий существование всех этих "любезных", "гордых" и прочих) и подземным царям - одновременно. Повзрослев, он мог бы стать Печориним. Или Акакием Акакиевичем. Но сейчас - кто он? Проще всего предположить - и это не будет чудовищной клеветой: Пушкин. Он еще не старик, презираемый женой, но уже и не молодой мудрец - кто ж он? Он не знает, он пытается понять, обращаясь в свое прошлое, к стихам одиннадцатилетней давности. Тоска по романтическому прошлому? Вряд ли. Он уже иной, иной; ему уже не дописать того стихотворения, ему уже просто неинтересно рассказывать еще одну романтическую историю о пламенном юноше, покупающем - ценою жизни - ночь Клеопатры (впору усмехнуться, улыбнуться, скривиться); но юноша не умер, как не умер мальчик - и он приводит его на пир. К расчету. Что привело его в Египет? Что привело в роковой блистающий чертог? Стоустая молва о прекрасной царице. Мечта. Он оставил дом, родителей, близких. Быть может, ему пришлось украсть или даже убить, чтобы добраться до дворца - до мечты. Он отринул прошлое, пришел сюда, сидит за столом:

Юрий Буйда "Третий"

(возлежит), он поел и выпил вина, ему хорошо, он видит Клеопатру - блистающую, неприступную, недоступную, он слышит славословия ее красоте, воспринимая их как гимн Красоте, и мучительно сознает, что никогда не отважится даже приблизиться к этим мужчинам и женщинам, и уж тем более - к царице, хотя ему хочется - так хочется! - именно этого: хоть как-нибудь, каким угодно образом, способом привлечь ее внимание: да, он готов к любому подвигу, вот ворвутся разбойники, перебьют всех, окружают Ее, и только он - с пылающим взором и окровавленным мечом - останется рядом и спасет ее; нет, вот сейчас он встанет и прочтет стихи, которые потрясут всех, исторгнут слезы у нее - а он, легко поклонившись, уйдет, и она пошлет за ним, и его будут искать всюду - нет, он не отважится; он уйдет в другие земли, завладеет сокровищами жестоких колдунов, покорит великие государства, придет в Египет - грозен, безжалостен и влюблен, швырнет к ее ногам сокровища и царства - и уйдет, а она окликнет его: "Постой же..." Он очнулся: почему вдруг все замолчали?

"Внемлите ж мне: могу равенство
Меж вами я восстановить".

Конечно, равенство - с этими, что вокруг, с миром земным и подземным; равенство - перед смертью, перед будущим.

"Кто к торгу страстному приступит?
Свою любовь я продаю;
Скажите: кто меж вами купит
Ценою жизни ночь мою?"

Ночь! - как много! Ночь. Тулон. Смерть? Вечная ночь, которая начнется этой ночью. Вот он, случай, выхватывающий человека из толпы. Есть упование... Из толпы выходит человек с седыми висками. Бесстрастное лицо. Грузноват. Звероват. А вот и второй. Улыбающийся. Отдает чашу с вином соседу, что-то говорит вполголоса, словно извиняясь, приветствует царицу красивым жестом. А третий? Все смотрят на него. Он шагнул вперед. Нет, это не он шагнул, а тот, кто готов взглянуть в лицо смерти - в лицо Красоте. Грядущее - грозно. Но жребий брошен. Первым - Флавий, следом - Критон. Он - Третий. Впереди две ночи и два дня, прежде чем придет его срок, его час. Две ночи и два дня волнений, отчаяния, самого жуткого ужаса (умереть? - боже!), надежды; две ночи и два дня отваги и трусости, и любопытствующих взглядов, и скользяще тревожных улыбок желтолицых жрецов, и ревности... Наутро народу покажут голову Флавия - а он будет неотрывно

смотреть на широколезвийный топор у ног бритоголового палача: вот этим топором... Вот и он - и он! - выйдя из ее спальни, замрет на пороге, увидев перед собою этих двоих в пурпурных балахонах, с кожаными масками на лицах, в складках бычьих шей поблескивают капельки пота, сто шагов прямо, семьдесят налево, чей-то взгляд из-за пыльной портьеры, еще сорок шагов, зачем он считает, еще двадцать, быка ведут через дворик, щербатый мальчуган мочится на стену, арка, рассохшаяся дверь, тесная комнатенка, затянутая паутиной, глиняный пол, выщербленная колода, зевающий бритоголовый человек с широколезвийным топором, солнечный луч, бритоголовый ладонью смахивает с колоды соломинки, куриные перышки, снова зевает... Нет! нет! никогда! Нет, бежать, скрыться, спрятаться в тростниковых зарослях, питаться лягушками, уйти в пыльные необитаемые лабиринты, в услужение к немым жрецам, сносить унижения плоти, зажать дух тисками раскаленного "нельзя" - но жить! жить! жить! И целый день впереди, целый век, и никто не охраняет его, он волен уйти в любой миг, хоть сейчас, конечно, вот прямо сейчас, за той портьерой - шумная улица, сладкие лица торговцев, подвыпившие легионеры, замасленные проститутки с костлявыми ключицами, волю, шарлатаны, крестьяне, белесое от жары небо, тусклый блеск реки... уйти?! Нет. Он, конечно, уйдет, но ведь еще есть время: ночь и день. Вечером - случайно - он увидел царицу: усталая женщина с жирной кожей, неприязненное выражение лица, раздражена, рабыню хватают и уволокивают, царица ловит его взгляд - вымученно улыбается в ответ... Ночью ему присылают женщину, но он отказывается. Однажды отец прислал ему свою рабыню-гречанку, сильную, мускулистую, с холодным плоским животом, маленькими твердыми грудями... Пришедшая с родителями в гости девочка - презрительно надутые губки - неожиданно прижалась к нему, они спрятались от родителей и гостей, не знали, что делать... Вот и весь его опыт. Прочь! Но не об опыте речь - о любви и смерти, о времени и вечности. Утром он не пошел смотреть на отрубленную голову Критона. Остался в своей комнате. Услышав глухой шум толпы, застонал...

"...под смертной секирой
Глава счастливица отпадет".

Флавий, Критон... Его черед. Неужто царица так безжалостна? А грусть, а умиление в ее взоре, остановившемся на нем? Ничего не значат? Нет, нет, не может быть! Когда они будут лежать рядом, уже пережившие вспышку страсти, он расскажет ей - все, все расскажет: про мечты свои, про жизнь, про то, как нужна ему эта жизнь - она не может не понять... Зачем? О чем он? До ночи осталось совсем мало.

Прии Буйда "Третий"

Боже! ведь если ему предстоит через несколько часов начать путешествие в смерть, значит, каждый из этих часов поистине равен годам, отпущенным на добро и зло, мечты и свершенья, а он - лежит! лежит на тюфяке, глядя в окно на ласточек, как будто в запасе у него - годы и годы. Он засмеялся - да так и есть: в запасе у него - вечность. Ему уже не успеть спасти красавицу от разбойников, родину - от захватчиков, ему не успеть создать величайшую пирамиду или (на худой конец) величайшую книгу, не успеть сокрушить царства и слить народы в братском объятии - ему не успеть остаться. Он так и не узнает, кто он: поэт, прозаик, муж, отец, государственный деятель, помещик или рогоносец при жене, дарящей его высокомерным презрением - он просто он. Одинокий. Единственный. Третий. Это все, что останется.

"Но только утренней порфирой
Аврора вечная блеснет,
Клянусь - под смертною секирой
Глава счастливых отпадет".

Царица ждет его. Сопровождаемый красивыми рабынями, он шествует в бассейн. Под звуки арфы девушки массируют и умащают его тело. Одевают. Готовят к встрече. Его ждет она. Сладостная, сладкая любовью... Нет! он еще вправе отказаться! уйти! вернуться! - но куда? Нет. Куда ж он вернется? Прошлое уже случилось, сожжено, там - огонь, но и впереди - огонь. Нет иного пути:

"Лишь выбор между пламенами --
От пламени спасает пламя".

Позади - "Руслан", уже позади - "Онегин" и "Капитанская дочка", настоящего нет, а впереди? Бог весть! Красота, правда, смерть, и он должен - иначе уже нельзя - познать эту надчеловеческую, бесчеловечную гармонию истории (люди живут по законам человеческим, народы - по бесчеловечным законам). Царица ждет. Портьеры, музыка, взгляды... Он, кажется, торопится, да, слишком торопится; он исполнен мужества и мудрости. Дела - участь тех и того, кто остался на тюфяке, его удел - деяния. Снова поворот. Низко кланяется бритоголовый, ссадинка за ухом, вот и последняя дверь, тянет холодом, откуда этот звук, врата ада? рая? - медленно - что за гул? - расходятся, открываются, никого, лишь он, задыхающийся, почти ослепший, на пороге, гул - не сердце ли? не новые ли стихи? Не до поэмы - жизнь идет, гул, он на пороге, створки разошлись, в полутьме он видит ее, и радость, незнакомая живым людям, распирает его грудь...

Прий Буйда "Третий"

"Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья -
Бессмертья, может быть, залог!"

Бессмертье. Пламя и пламя. Он должен сделать этот шаг. Он платит. Он делает этот шаг.

"Н С Ц А Т Ч Н Д С И"

"Ученик. Видишь ли, я думаю о действии будущего на прошлое. Но разве можно с таким грузом книг, какой есть у старого человечества, думать о таких вещах! Нет, смертный, смиренно потупи взгляд. Где великие уничтожители книг? По их волнам нельзя ходить, как по материку незнания".

(В.Хлебников. "Учитель и ученик".)

Это повторялось из года в год - в мои семь, и в десять, и в двенадцать лет: меня вытаскивали из запущенного парка в конце улицы, или из ивняка на Бабском берегу, или из садового домика, где я валялся на топчане с книгой, смахивая со страниц двухвосток-уховерток, сыпавшихся из всех щелей - вытаскивали, сажали на облезлый "кухонный" стул, заставляли тщательно отмывать ноги в ярко-желтом тазу с горячей водой, закрашенной марганцовкой; потом мать поливала из голубого кувшина с алой бабочкой на боку, а я неумело и неохотно мыл шею, стучаясь макушкой о водопроводный кран, висевший скрюченным медным пальцем над глубокой эмалированной раковиной. Затем я с трудом натягивал на еще влажноватые ноги носки и сандалии с негнущейся подметкой, твердостью не уступавшей железу, рубашку, вечно пузырившуюся на спине и спереди, отглаженные хлопчатобумажные брюки, сползавшие с моей тощей задницы, так что приходилось то и дело поддегивать их локтями. Завершив процедуру одеванья, я подходил к отцу, снимавшему в это время со своей надутой щеки последний клоч пены при помощи опасной бритвы, и он кропил мои пегие волосы одеколоном из флакона с роковой цыганкой на этикетке. Пахнущие дешевой парфюмерией, мы выходили из дома: отец и мать "бубликом" - под руку, я - чуть сзади, и шествовали по Седьмой, вымощенной красным кирпичом и покрытой толстым слоем красной пыли, которая нежно алела в лучах заходящего

Юрий Буйда "НСЦДТЧНСИ"

солнца, клубясь под ногами бредущих с выгона коров. Да, все так и было - и в семь, и в десять, и в двенадцать, и позже, но после двенадцати весь этот ритуал приобрел несколько иной смысл - для меня, разумеется.

Друзья нашей семьи жили неподалеку от центральной площади - до нее от них за минуту можно было добраться по извилистой дорожке, протоптанной в зарослях бузины, головокружительно пропахших человеческими экскрементами. Тропинка выводила во двор - узкий прямоугольник между грузным на вид двухэтажным зданием, крытым черной обливной черепицей, - внизу помещалась почта и милиция, а под крышей библиотека - и узким и высоким зданием поликлиники со стрельчатыми окнами и скрипучей входной дверью с литой железной ручкой в форме львиной головы и крестообразным витражным окошком. Посидев за столом около получаса, я оставлял родителей в компании бездетной пары и Степы-Марата, известного анкордеониста, получившего свое прозвище из-за службы на линкоре "Марат", и поднимался через заросли бузины к скамейке у торцовой стены поликлиники, где и устраивался с книжкой и кульком поджаренных с подсолнечным маслом семечек. Я читал и с птичьей неумолимостью и птичьим же бесстыдством заплывал все вокруг шелухой. Я грезил. Я полагал себя влюбленным, а в двенадцать лет это означает - быть влюбленным. Она была старше меня лет на двадцать, и как две капли воды похожа на роковую цыганку с отцовского флякона (в моих тетрадках и книжках скопилось десятка два-три этикеток с ее портретом, но я почему-то стеснялся их наклеивать). Она ходила в мини-юбке, выставляя на всеобщее обозрение полные ноги, обтянутые черными ажурными чулками. Как и я, она каждый день являлась в поликлинику на уколы. В просторной приемной я устраивался напротив и поверх книги глодал взором ее роковое желтое лицо с густо накрашенными ресницами, тронутую увяданьем шею с капельками пота в жирных складках, толстые руки с толстыми пальцами, украшенными предлинными заостренными ногтями, наконец - ее ноги. Мне были назначены два укола зараз - алоэ и какой-то витамин. Дней через десять обе руки были исколоты, процедурная тетя Лида начинала жалеть меня и, сделав укол, укладывала на кушетку за ширмой, колола других, а уж потом опять меня. Нередко другой оказывалась желтолицая брюнетка, и я, с опустевшим вдруг сердцем, ловил каждый звук, доносившийся из-за ширмы: шаги, хруст ампулы, невнятно-ласковое бормотание тети Лиды (это была верующая и добрая мужеподобная женщина, которая однажды на вопрос, что такое рай, ответила с обезоруживающей искренностью: "Это место, где я никогда не увижу голой ж..."), шорох платья, резиновое щелканье, снова шорох платья. Обменявшись ничего не значащими фразами, женщины чему-то смеялись, после чего моя Карменсита уходила. Однажды я не выдержал, скользнул к ширме, припал к щелке

и увидел ее: стоя ко мне спиной, она подняла платье до пояса, немного наклонилась вперед и стянула трусы, явив моему взору пышные ягодички, испятнанные следами укулов. На несколько мгновений тетя Лида заслонила от меня эту картину, потом ее белый халат пропал, и я вновь мог любоваться роскошным двухместным седалищем. Красавица почему-то не спешила одеваться. Она расставила ноги пошире и негромко, но протяжно пукнула. "Вон ты как меня уколола", - со смешком проговорила она. Тетя Лида засмеялась и вполголоса сказала ей что-то укорительное.

И вот, сидя с книгой на скамейке у стены поликлиники, я грезил, восстанавливая в памяти ту восхитительную картину и призывая на помощь весь свой скудный запас сексуальной эрудиции, приобретенной в компании таких же, как и я, прыщавых оболтусов и брехунов, уверявших, что уж они-то познали все, хотя в большинстве случаев это "всё" не шло дальше тактильного знакомства с липкими от страха, недоразвитыми грудями подружек и влажных следов мучительных неудач на их судорожно сведенных железных бедрах. Впрочем, и этого - в сочетании с неотвязным приторно-сладким запахом одеколона - было довольно, чтобы ввергнуть подростка в грезы наяву, и я млея - с остекленевшим взглядом, прилипшей к нижней губе шелухой и закипающей кровью, клокотавшей где-то в тесной костяной коробке тазобедренного сустава. Из состояния прострации меня вывел запах крепких духов и крепкого пота, накрывший меня таким облаком, что я чуть не задохнулся. Карменсита пересекла двор и скрылась за дверью почты. Я бросился за нею. В такт шагам она помахивала тонкой книжкой, поднимаясь по гнилой скрипучей лестнице во второй этаж, где располагалась библиотека. Я шел за ней (Карменситой), чтобы идти за ней. Я не собирался в библиотеку (до той поры мне хватало книг, собранных родителями), но: от круглой печки по коридору - налево, и вот, сам не понимая, как это произошло, я уже стоял перед конторкой, за которой восседал библиотечарь по прозвищу Мороз Морозыч - старик с ватной шевелюрой и ватной бородой. Вздвев на нос очки с исцарапанными круглыми стеклами в железной оправе и шнурками вместо дужек, он обмакнул перо в чернильницу-"непроливайку" и, поглядывая то на меня, то на Карменситу, принялся неторопливо заполнять мой формуляр. При этом он, разумеется не задавал никаких вопросов, ибо знал не только моих родителей и меня, но и всех жителей городка, их прошлое, настоящее, а возможно, и будущее. Красавица удалилась в читальный зал (позже я узнал о ее неиссякающей страсти к тому медицинской энциклопедии на букву "В"), а я внезапно оказался один на один с библиотечарем, охваченный чувством, какого прежде мне не доводилось испытывать.

Пожалуй, это было предчувствие судьбы.

Иногда я хаживал с отцом в фабричную библиотеку. Это были две тесные клетушки в клубе, рядом с бильярдной, две комнатки, доверху набитые потрепанными книжками. В углу, за шатким столиком, сидела иссохшая до белизны старуха с неизменной папиросой в черных зубах и варежках домашней вязки на вечно зябнущих птичьих лапках, которые она время от времени грела, прикладывая к латунному абажуру старомодной настольной лампы. Пока отец рылся в книгах, я сидел, словно примороженный к столу неподвижным взглядом старухи, не спускавшей с меня глаз. Ее внук по неосторожности застрелил из охотничьего ружья отца, ее сына, и с перепугу спрятал тело в подвале, за угольной кучей. Степа-Марат клялся и божился, что к тому времени, когда труп обнаружили, в животе бедняги мыши успели вывести потомство. Когда его выносили из подвала на свет божий, изо всех дырок в теле беспрестанно вываливались, сыпались крохотные мышата, с отчаянным писком погибавшие под сапожищами мужиков (из опасения отравиться трупным ядом мужики заткнули ноздри и уши хлебным мякишем). Хоронить пришлось дочиста выеденную изнутри кожаную оболочку, напоминавшую проколотый воздушный шар с нарисованным ртом и заклеенными пластырем глазами. С тех пор старуха боялась мышей и детей. А я боялся старухи. Была библиотека и в школе, куда нас однажды записали огулом под присмотром учительницы, вечно боявшейся, как бы ненароком не захватили желтых классиков марксизма-ленинизма. Но так уж получилось, что обе известные мне до того библиотеки я не воспринимал как нечто сакральное, как образ, символ, метафору. А тут... Быть может, все дело в Карменсите?

Библиотеку издавна принято сравнивать с миром, Космосом, символом которых, выражаясь современным языком, издавна же являлся критский лабиринт. Катулл назвал его "храминой". Некогда храмами называли и библиотеки, и хотя это сравнение встречается и до сих пор, ныне оно скорее дань традиции и лени, нежели плод энтузиазма или глубоких размышлений.

О библиотеке, книге, чтении написано много. Мне хотелось бы только вспомнить, чем она была для меня, а главное - к каким мыслям привело меня блуждание в этом лабиринте.

Эти четыре комнаткушки, соединенные истертыми ступеньками и заставленные деревянными полками с разноцветными томами, долгое время казались мне загадочным царством, движение в котором обусловлено незнанием, то есть движение тут возможно лишь постольку, поскольку существует нечто непознанное, непредсказуемое, случайное. Именно это и сближает библиотеку с лабиринтом - упорядоченным хаосом, расчисленным, рациональным, где движение принесено в жертву геометрии.

Сложность лабиринта изначально бессодержательна и механистична, но становится естественной, как только в дело вмешивается случай - Минотавр, способный напасть в любой миг, в любом месте.

Я вступил в это царство. Я преодолевал бесконечные равнины и океаны, продираясь через леса, где сломанные ветки сочатся кровью и стонут человеческими голосами, сражался с жестокими чудовищами и коварными колдунами, похищал розовоногих красавиц и словом - словом! - останавливал солнце над полем битвы. Возможности мои казались неисчислимыми. В любое мгновение я мог избрать новый вариант бытия, погибнуть как неповторимая личность, чтобы восстать из пепла как неповторимая личность. Я понял, что мне никогда не принять эту лжесвободу, эту дурную бесконечность, и это побудило меня пуститься на поиски Единственной Книги, которая объяснила бы все остальные, стала бы Ключом. Разумеется, речь шла не о банальном каталоге, но о Каталоге Космоса. Библия? "Махабхарата"? "Война и мир"? А, может быть, речь идет даже не о книге, но о фрагменте, строфе, реплике ("А он бездетен!" - и непроглядная тьма "Макбета" обретает вес и объем), даже - о тональности абзаца? Понятно, почему именно тогда я - безотчетно, разумеется - пришел к отрицанию идеи прогресса в искусстве. А чуть позже я прочел в "Записках из кельи" Камо-но Темэя, в переводе Н.Конрада: "Преподобный Рюге из храма Ниннадзи, скорбя о том, что люди так умирают без счета, совершал вместе с многочисленными священнослужителями, повсюду, где только виднелись мертвые, написание на челе у них буквы "А" и этим приобщал их к жизни вечной". В.Санович в примечании поясняет: "Первая буква санскритского алфавита, по учению Сингон, являет образ истока, начала начал. Само ее созерцание освобождает от страданий, выводит на путь, в конце которого можно стать буддой, достичь нирваны - чистого блаженства, существующего в бесконечности..." Мир сводим не только к книге, но и к букве (впрочем, логика заставляет предположить, что "А" сводимо к молчанию). Это тот тип мировосприятия, через преодоление которого европейская культура шла к нынешнему своему состоянию; Восток в целом остался чужд картезианскому рационализму.

Перечитывая (теперь я только перечитывал) "Петра I", в пятой главе третьей книги я наткнулся на пассаж, ранее не привлекавший моего внимания. Толстой цитирует некую рукопись под названием "Досмото ко всякой мудрости": "...узришь при себе водных и воздушных демонов... Скажи им заклятое слово "нсцдтчндси", и желаемое исполнится..." Помню, это жаркое дыхание магии опьянило меня: вот символ ВсеКниги - ВсеИмя. Средство и цель. Абсурд: мир сводим к "НСЦДТЧНДСИ".

Принято считать, что у каждого есть своя библиотека: скажи, что ты читаешь, и я скажу, кто ты. Эта мысль показалась бы дикой, если

не еретической, культурному человеку, скажем, XII века. Библиотека того времени символизировала устремленность к единственной мудрости - к Богу - и не познавала истину через ложь. Современная библиотека - это множество путей ко многим истинам, а чаще - к банальному знанию, поэтому именно современная библиотека и есть наихудший вариант лабиринта. Из средоточия мудрости она давно превратилась в склад знаний, лишенный сакрального содержания. Лабиринт ярко освещен прожекторами и оснащен громкоговорителями, указывающими путь заблудшему, а также массой запретительных знаков, которые, по существу, и превращают святилище в склад, лишая путника свободы передвижения, пусть опасной, но свободы (которая, впрочем, вообще немислима без опасности). В таком лабиринте нам в принципе не угрожает встреча с подлинной случайностью, с Космосом. Жалкой пародией на прежнюю библиотеку стали так называемые "запретные" комнаты, рудимент (исчезающий), придающий образу книгохранилища едва заметный метафизический ореол.

Движение литературы характерно для истории культуры: от эпоса - к эпосе и роману, от цельности - к фрагменту, от завершенности - к наброску и черновику... Невозможно представить древнего эллина или иудея, смакующего достоинства зачеркнутой строфы: они еще слышали в культуре голос или отголосок культа. Количество книг увеличивается: за последние сорок лет их выпущено больше, чем за предшествующие пятьсот. Перечень "гениев" все длиннее. Все больше музеев. Не удивлюсь, если вскоре появится музей ненаписанной книги. Увековечиваются имена: нас раздражает анонимность авторов "Илиады", "Слова о полку..." или "Макбета". С точки зрения христианина в анонимности есть что-то вызывающее: не попытка ли это скрыться от Суда? Не то ли смирение, что паче гордости? Странно, особенно если учесть, что этим "Бухгалтеризмом" больны приверженцы бога-анонима. Останавливаются все мыслимые мгновения и тем самым расширяются владения прошлого в настоящем и будущем. Владения смерти. Память человечества перегружена, и естественно предположить, что однажды масса достигнет критической точки. А дальше? Коллапс? Не исключено. Естественным, хотя и неосознанным, средством самосохранения стало возрождение коллективного творчества, возрождение - на качественно новом уровне - древней анонимности. Кроме того, преимущества кино, ТВ и видео, а речь о них, еще и в новом (в сравнении с книгой) способе восприятия и воспроизведения жизни, напоминающем тот, что был до Гутенберга, а, может быть, и до изобретения письменности. Ничего плохого в этом нет. Впрочем, и ничего хорошего - тоже.

Пытаясь выяснить этимологию слова "лабиринт", некоторые исследователи указывают на близкое ему слово "лабрис" - так назывался

двойной топор критского Диониса. Одним лезвием топор обращен к другим людям, другим - к держащему топор. Топор - обоюдоопасен.

Библиотека давно перестала быть неким обособленным миром, где, по законам романтического мифа, мог укрыться от пошлости жизни художник (скрывался и я - от спивавшегося отца и спившейся матери, от городка и образа жизни, который городок навязывал). Более того, библиотека в принципе неотделима от жизни. И чем гнуснее действительность, тем притягательнее библиотека, примиряющая с этой действительностью, тем глубже и органичнее связи между ними. Иногда мне кажется, что если в нашем Лабиринте (жизни, мире) вовсе нельзя без Минотавра, то ведь не придумать для него жилища лучше, чем библиотека. А, может быть, сама Библиотека и есть Минотавр?

Отец повесился под вечер, оставив записку: "Я не виноват. Простите". Люди столпились на чердаке, боязливо поглядывая на передвленную телефонным проводом шею и высунутый язык. Меня не пускали, но я вырвался и увидел. А потом ушел и спрятался в библиотеке, благо Мороз Морозыч доверял мне ключ. Там я и провел ночь и весь следующий день - на раскладушке в комнатке, где сваливались подготовленные к списанию тома и старые газетные подшивки, а также хранились - в укромном месте - "запретные" книги, утаенные от проверяльщиков. Не спалось. Я дрожал при мысли, что мне предстоит вернуться домой, посмотреть матери в лицо, что-то сказать...

Днем пришла Карменсита, вид которой давно не вызывал у меня никакого волнения. Той весной она провожала в армию сына - плакала, казалась старенькой и жалкой. Она зашла в комнату, где за двойным стеллажом неподвижно лежал я, и принялась перебирать пахнущие плесенью книги: иногда Мороз Морозыч разрешал некоторым читателям выбрать что-нибудь в этой комнате, "на унос". В неслышно отворившуюся дверь проскользнул Ирус - король Семерки, старательно прикрывавший лысинку крашеными кудрями, перестарок, как называла его моя суровая тетушка - сорокалетний мужчина, все еще бегавший на танцуйки и задиравшийся с пацанами из-за девочек. Карменсита и Ирус вполголоса перекинулись какими-то словами. Одним движением она подняла платье до груди, прислонилась к стене. Он повозился с ее поясом, отстегнул резинки, похлопал по белесому рыхлому бедру. Она опустилась на пол, он, расстегивая брюки, рядом. Они не целовались. На их лицах было то напряженное выражение, какое бывает у кошек, гадящих на половик. Оба громко и хрипло дышали. Что-то хлюпало. Потом она с облегчением застонала. "Ты прямо как мертвая сегодня", - сказал Ирус. "Правда?" - спросила она тоненьким голоском провинившейся девочки. Он ушел. Она долго возилась с чулками, отряхивала платье, потом вдруг взялась

Юрий Буйда "НСЦАТЧНДСИ"

руками за голову и уткнулась лбом в стену. Долго и молча стояла в этой театральной позе. Ушла.

Я перевернулся на живот и тотчас заснул. Во сне я видел что-то огненно-желтое и стремительное. Проснулся от страха: мне казалось, что за мною кто-то гонится, и топот эхом отдается в бесконечных коридорах. Я закурил, стряхнул пепел на пол. Рука дрожала. Я поднял руку - тяжелая кость, обернутая тяжелой плотью, пропитанная тяжелой, вязкой кровью. Чужая. Меня знобило. Я выбрался из комнаты и затопил печку. Бумага горела плохо. Потом вновь заснул и долго спал, мучимый кошмарами. Когда проснулся, зажег спичку: было девять. Утра или вечера? Пахло гарью. Я щелкнул выключателем: света не было. Снизу, с улицы, доносились громкие возбужденные голоса, удары по дереву и камню.

Я пробрался к двери - из-под нее вдруг повалил дым. За дверью ревел огонь. В читальном зале зазвенели стекла. Весело орущие мальчишки и мужчины лезли вверх по качающимся приставным лестницам. Внизу пританцовывал на своих костылях Мороз Морозыч. Мы повыбивали остальные стекла и принялись выбрасывать книги стопками вниз. Они раскрывались на лету и звучно шлепались на булыжник. Подъехала пожарная машина. "Только не воду! - закричал Мороз Морозыч. - Это хуже огня!" На него не обращали внимания. Толстая струя воды ударила в окно, наткнулась на стеллаж и рассыпалась брызгами по корешкам. Огонь проел потолок, и нам пришлось спешно ретироваться через окна. С лестницы я прыгнул на гору влажных книг и съехал на заднице к ногам библиотекаря. Он не узнал меня. Участковый Леша Леонтьев сердито урезонивал тех, кто под шумок пытался утащить книги. Участковому со смехом помогали несколько пьяненьких добровольцев. В густеющих сумерках люди с охапками книг бежали в заросли бузины. Хлопья сажи падали на мокрую бумагу и расплывались черными пятнами.

Кажется, я задремал стоя. Мороз Морозыч тронул меня за плечо.

- Обидно. Полчаса - и все.

Я промолчал.

- Боже, боже мой, - снова заговорил он, - что же дальше-то будет?

Я пожал плечами.

Мороз Морозыч заглянул мне в лицо.

- Что ж, - сказал он. - Тебя я, наверное, понимаю. Но извини: мне трудно с этим примириться. Как любому человеку без будущего. Помню, меня покорибила литературность его речи.

- С чем примириться?

- Ну, хотя бы с тем, что у кого-то это будущее есть. Может, только и есть, что будущее. Маловато...

Юрий Буйда "НСЦДТЧНСИ"

Он помолчал.

- Некоторые события неизбежны. Надо сжечь, чтобы стать свободным. Остается пепелище, но ты уходишь, ты начинаешь жизнь...

- Это не я.

- Я не о том... - он покачал ватной головой. - Я о неизбежности. Но потом, с такой же неизбежностью... с непреложностью наступает час, когда тебя вдруг обступают призраки, что-то мучает, болит, и все это называется памятью, которую надо воплотить. И с высот ума ты спускаешься в глубины магии, чтобы отыскать слово, дающее власть над призраками...

- Знаю я это слово, - с раздражением перебил его я.

- Вот как? - в его голосе не было ни удивления, ни сомнения.

- Нсцдтчндси, - с трудом выговорил я. - Н-с-ц-д-т-ч-н-д-с-и.

- Ну да, - кивнул он. - Почему бы и нет? На первое время сойдет. А потом понадобится что-то еще, что-то большее, нежели слово. Что это такое - я не знаю. И не знаю, сколько лет ты потратишь, чтобы узнать это. Да и вряд ли узнаешь, хотя приблизиться, говорят, можно... Ты уже? Ну что ж, извини.

Он помахал рукой - большой и белой, словно страница книги.

Спустившись на затянутый туманом луг, я побежал. Меня била дрожь, в голове острым клювом постукивало: "Н-с-ц-д-т-ч-н-д-с-и! Н-с-ц-д-т-ч-н-д-с-и!" С разбегу перепрыгнул Гнилую канаву, перелез через садовый забор. Нсцдтчндси. В саду пахло созревающим белым наливом, нсцдтчндси, ночными фиалками, навозом из хлева, где огромной живой глыбой ворочалась корова. При моем появлении с середины двора поднялась какая-то темная птица. Нсцдтчндси. Я замер на пороге. Нсцдтчндси.

Она медленно подняла голову, "нсц", медленно убрала рассыпавшуюся на пол-лица серую прядь, "дт", и я увидел все разом, "чндси": и обшарпанный "кухонный" стул, на котором она сидела, и застеленный ржавой клеенкой стол, початую бутылку, тарелки, огрызки и рыбы кости, и засиженную лампочку без абажура, и ее покрасневшие распухшие колени.

"Мама... - промычал я впервые за последние десять лет, с ужасом, сравнимым только с радостью, почувствовав, что не забыл и это слово. - Ма..."

А она уже поползла со стула, с трудом сгибая колени, медленно и тяжело опустилась на пол.

"Ма!" - и она, прижав к груди обе руки, тихо-тихо, с мучительной болью в голосе проговорила:

"Солнышки вы мои... солнышки... боженьки вы мои милыя..."

Прий Буйда "НСЦДТЧНДСИ"

На месте сгоревшей библиотеки построили уродливое здание с плоской крышей и несдираемыми потеками гудрона на стенах, разместили там аптеку и почту. Спустя месяц после смерти матери я уехал из городка. У меня не осталось ничего такого, что связывало бы меня с этим прошлым. Ну, разве что том медицинской энциклопедии на букву "В", с расплывшимися по страницам черными пятнами. Да заклинание - как это еще назвать? - НСЦДТЧНДСИ. Не лучше, но и не хуже других.

* * *

Главный редактор
А.МИХАЙЛОВ

Художественный редактор
И.БЕЛОГОРЛОВ

Технический редактор
Т.МЕЛИХОВА

Подписано к печати 15.02.91 г.

Формат 60 x 90 / 16.

Бумага офсетная

Печ. л. 6.

Уч. изд. л. 7.

Тираж 50 000 экз.

Цена 3 руб.

Отпечатано с готовых диапозитивов

Цена 3 руб

В НОМЕРЕ :

Андрей БИТОВ: "...СОЛО" создано для того, чтобы появились эти непечатные авторы, чтобы они выразили свою непечатность..."

Андрей КАВАДЕЕВ: "...Товарищ Виски – крепкий товарищ, он сальностей не терпит и от лапши всякой отворачивается: что ему рабфаковский окунь из требухи – он предпочитает честную икорку с эстрагончиком..."

Андрей МИХАЙЛИЧЕНКО: "А ты поёшь, бренча на лире,
Или, скорее, на гитаре,
И в духе музыки пиццерий
Чего-то модное кантаря,
Невыразимое в фольклоре..."

Софья КУПРЯШИНА: "...Сколько женщин было у гроба – молодых и старых, с печатью продажности и клеймом таланта! Все они молча смотрели на яркое лицо шута, и каждая вспоминала свое..."

Зуфар ГАРЕЕВ: "...Ишь ты, это все новый французский роман балуется... как же, читал, знаю эти штучки-дрючки".

Юрий БУЙДА: "...Наутро народу покажут голову Флавия – а он будет неотрывно смотреть на широколезвийный топор у ног бритоголового палача..."